ISSN 0321—0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ

89 5

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки,—
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,—
Внуки, братики, сыновья!

Анна АХМАТОВА

29 февраля 1944



ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА

ИЗ-ПОД САМОГО СЕРДЦА

Слово, слово — великое дело!
Федор Достоевский

Что есть СЛОВО?! Эта неуемная мысль занимала человека всегда. И каждый в каждом поколении многовекового жития в силу разума и сердца своего искал ответ и глаголил легенду о прекрасном, божественном Слове, данном человеку от роду. Действительно, что за удивительный инструмент вложен в нас природой? Благодаря ему мы находим согласный язык, пробуждаем разнообразнейшие чувства друг в друге, выражаем себя, свою душу, ум, свой характер, характер своего народа, равно как и всего человечества. Ведь в слове — капля океана мирского, необъятного...

Близко и любезно сердцу моему замечательное наблюдение Николая Васильевича Гоголя, так точно выписанное им в поэме «Мертвые души». «...Всякий народ, — размышлял он, — носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличался каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного его характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так кипело бы и животрепетало, как метко сказанное русское слово...»

Самое замечательное, что в этой ладно скроенной оценке нет никакого великорусского чванства, никакого самовозвеличивания или спесивого душка. Николаю Васильевичу всякий народ люб, и всякого он выгодной стороной славит, но добрый нрав своего — ближе ему и дороже. А если учесть, что описание это взято нами из «Мертвых душ», где отечественной дури и глупости выдано совсем не малой мерой, где пороки наши припечатаны на века, то было бы просто грешно не понять мудрого классика, что слово народное он не отделял от сути нашей нравственной и духовной.

Признаемся, что, думая о новом названии журнала, мы пошли вслед за отечественными мыслителями — Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским, объединявшими слово и дело.

Не зря Лев Николаевич Толстой по-апостольски выстраданно пророчествовал, что слово как соединяет наши души, так же и разъединяет... Помнить бы об этом в дни мучительных сомнений и малоспасительных надежд, когда мстительные речи бьют через край, захлестывая яростью, спесью, лицемерием, когда человеческое достоинство, истина, честь, правда превращаются порой в игрушку своекорыстных себялюбцев, когда слово ненароком становится страшным орудием слепого гнева и зла...

Наш атомный двадцатый век многому научил нас. Он вновь открыл, как и тысячелетия назад, что только слово-душа, слово-совесть, слово-брат способны соединить людей в единое планетное сообщество, укрепить их души и дух... Прав, прав Гоголь: такое искреннее, душу утепляющее слово вырывается только из-под самого сердца. И нести его в мир нам написано на роду... И народным писателям, и литераторам, и всем духовникам... Ведь книга, журнал — и сегодня остаются одним из главных источников духовного богатства...

Вот и мы хотим дерзнуть и дать многовековой традиции, идущей от пращуров наших — Владимира Красное Солнышко и Владимира Мономаха, от Ярослава Мудрого и Сергия Радонежского, от автора бессмертного «Слова о полку Игореве» — новый прилив духовных сил, раскрепощенных Апрелем 1985-го, чтобы созидательным делом, укрепляющим душу, полнилась жизнь каждого братского народа, обретшего вместе с нами державу и землю многострадальную, стоязычную, но родную, любимую каждым из нас.

«Слово — полководец!» К сожалению, этот мудрый и страстный призыв стал расхожей фразой, потеряв свой первоначальный смысл, размыт, как и сам нынешний характер наш... А все оттого, что мир перегружен словами-клише, пустой, утомительно расслабляющей болтовней...

Однако вернуть СЛОВУ его первозданную ценность, одухотворенность — посильная ли задача в наше время?! Не слишком ли легковесные обещания к столь большим переменам? И стоит ли что-нибудь за ними?! Может, всего лишь желание избежать прежнего названия, сегодня уж ясно, назойливо функционального, лишенного каких-либо красок сердца и ума, избежать этих бюрократических, худосочных «литературных и разных других обозрений», «в мире книг» и «в мире животных», клишированных досужими чиновниками в долгие годы скудоумия и безгласности... Вот, мол, и вы сыскали словцо позвучнее, покраше, поглазастее... По правде сказать, и это было, хотелось вынести на обложку именно такое «словцо», однако наполненное душевной мелодией, широким всеохватным смыслом, подвижной, гибколетучей мыслью, емким символом, вбирающим в себя всю многотрудную духовную жизнь советского народа.

Вот тут без вашей помощи, дорогие читатели, без вашего доброго, участливого отношения, требовательного, критического взгляда, без вашей всесторонней осведомленности и душевной чуткости нам никак не обойтись. Вы наши первые и главные авторы. Каждое ваше выстраданное слово — наше слово, каждое ваше духовное открытие, высказанное на страницах журнала — частица дела всеобщего, если оно укрепляет наше духовное, а стало быть, и физическое здоровье.

И в этом мы не видим разницы между литератором и рабочим, ученым и крестьянином, артистом, композитором, художником и строителем, моряком, летчиком... Всяк своим словом дорог!..

Еще. Пока на нашей обложке сохранится и прежнее название. До 1990 года оно останется в каталогах «Союзпечати», стало быть, подписываясь на журнал «В мире книг», вы подписываетесь на «Слово»...

И последнее. Мы намерены сделать традиционным «Слово о слове» и дать возможность каждому высказать свои мысли и чувства о судьбоносном назначении слова в жизни каждого народа — от малого до великого, в жизни человечества...

Сегодня вы познакомитесь с Анатолием Зиновьевичем Швиденко, киевлянином, в прошлом лесником, ныне доктором наук и директором научного института (см. стр. 8). Однако дорога не заказана никому, охотливый златоуст может получить трибуну, если его мысли окажутся неординарным и добрыми для нашего общего духовного дела...

Так продолжим же современное житие и деяние многоязычного Слова нашего. И пожелаем друг другу счастливого совместного пути в таинственном и необъятном мире духовных обретений и потерь, исканий и надежд.

Арсений ЛАРИОНОВ,
главный редактор
Апрель 1989 г., Москва

СЛОВО
№ 5 май 1989
Издается с сентября 1936 года
В мире книг
Литературно-художественный
ежемесячник Госкомиздатов СССР и РСФСР



«НО МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ДРУГ ДРУГА»

Павел Анатольевич БУРАВЦЕВ РОДИЛСЯ 12 сентября 1966 года, погиб в бою с душманами 22 ноября 1985 г.

По просьбе его боевых друзей, которые знепи о переписке Павлв с любимой девушкой (многие письмв в подразделении читались вслух), мы связались с мвтерью Буравцева Ниной Павловной и получили ее ответ вместе с письмами сына.

Паша часто говорил: «Жену я буду выбирать только в походах, там человека сразу видно, его трудолюбие, честность, надежность». Так и получилось. Увидел он Галину в походе на Мурахский перевал, 2—9 мая 1984 года и влюбился с первого взгляда. Галя моложе его на 2 года, он очень огорчался: «Ну, почему она такая молодая».

Эта любовь многое изменила в его жизни. Каждый день они виделись, значит, он уже не мог полностью отдавать свое свободное время друзьям. Но чтобы быть и с друзьями и со своим любимым увлечением — альпинизмом, он ствл приучать Галину к этому виду спорта. Каждое воскресенье они ходили на тренировки к «Немецкому» мосту. Раньше они ходили своей группой, теперь к ним присоединилась Галя со своей подругой Зухрой. Он не мог нарадоваться, что Галя оказалась очень способной ученицей, ловкой, выносливой и терпеливой.

Галя — миловидная девушка, небольшого роста, стройненькая. У нее все внутри, молчаливая, не хохотушка, как это свойственно ее возрасту. Паша, наоборот, никогда не умолкал. Ему было иногда невдомек, почему Галя вдруг замолкала. Это у него вызывало беспокойство: может, он что-то сделал не так и она обиделась...

Ему не терпелось поделиться своей радостью с нами. Привел он ее к нам на день своего рождения, когда отмечали восемнадцатилетие, 12 сентября. За день до этого он отметил свой день рождения в однодневном походе с друзьями. Гали там не было, она уезжала домой, в Благодарное. А в этот день в доме у нас собрались родственники. Понятно, Галя очень смущалась, ведь это были, по существу, смотрины. Сидели они на краю стола, рука в руке, притихшие. Галя нам сразу всем понравилась. Наверное, это передалось ребятам, к концу вечера они чуть развеселились. Когда Паша проводил Галю в общежитие, пришел домой, то первый вопрос: «Ну, как?» Мы хором сказали: «Хорошая девчонка». После этого Галя приходила к нам очень редко, видно, стеснялась...

И вот подошел день проводов в армию. Как я не хотела их делать! Парализованная мать, на душе тоска, где взять силы на добычу продуктов, приготовление, сборы родственников. Паша меня ободрил: «Родственников я беру на себя, в приготовят все девчонки, знаешь, как Галка хорошо готовит». И правда. Галя со своей Зухрой все сделали. Проводы были веселые. Было столько народу... Одни приходили, другие уходили и все его друзья, приятели, знакомые.

Вот и все.

Не знаю, было ли у него или у Гали предчувствие большой беды, но у меня было. Описать это нельзя. Это как предчувствие землетрясения у животных. Беспокойство, тоска и безысходность. Была потребность что-то предпринимать, но как, внутри ничего не подсказывало...

Еще с детства Паша мечтал служить на границе, в горах. Всю свою сознательную жизнь готовил себя к такой трудной службе. Стал альпинистом, прыгал с парашютом, тренировался в стрельбе. Ежегодно с туристами Ставрополя уходил на Мурахский перевал, по местам боевой славы защитников Кавказа, каждый раз проверяя себя в трудностях походов. И как пригодились ему эти тренировки, когда он служил на горной заставе! Вскоре в числе добровольцев-пограничников он был направлен в Афганистан. Мы об этом, конечно же, не знали...

Я пыталась все узнать о том дне у его товарищей... Но мало что узнала... Был получен приказ сменить точку, и наши ребята, взяв с собой оружие и снаряжение, пошли в горы. А их уже поджидали душманы... Четыре часа длился бой, четыре часа ребята пробивались, но силы были неравны.

В этом бою Павел в первую очередь думал не о себе. Он — фельдшер, нужно было отстреливаться и помогать раненым. Под прикрытием огня товарищей перевязал раненого командира, затем и сам был ранен. Пуля не пощадила Пашу...

После похорон я хотела Галю забрать к себе. Она очень хотела, но родители не согласились. Она приезжала иногда, мне становилось как-то теплее, как будто это Пашина частица.

Через год после гибели Паши она вышла замуж. У меня не было обиды, так надо, так, я думала, ей будет лучше. Но она поторопилась! Жизнь не удалась, он оказался большим эгоистом... 15 декабря 1988 г. у нее родился сын Паша. Я видела, как она воркует вокруг своего Пашеньки, все делает сама, никому не досаждает, ни на кого не перекладывает свои трудности.

Для нее я пока близкий человек. Советуется со мной, слушает мои наставления, кое-что рассказывает о своей жизни.

Ну, а Павлушка — мой внук, Пашин сынок.

Вот такая история.

За этот бой Павлик посмертно был награжден орденом Красной Звезды.

В 1987 г. школа № 64 в Ставрополе, в которой Паша учился, стала носить его имя. В школе есть стенд, рассказывающий о нем, и мемориальная доска... В этой школе пионерский отряд 4 «а» класса борется за право носить его имя. Аналогичные пионерские отряды есть в школах № 12, 5, 15, 21. Политический клуб «Юность» носит его имя. Ходит автобус, сделанный из металлолома, собранного пионерами 64-й школы, «Имени Павла Буравцева».

На нашем доме — мемориальная доска.

Комсомольские организации медицинского училища и «Скорой помощи», где он работал до службы, носят его имя...

Память о нем живет, ребята его помнят и любят, часто приходят к нам... Только материнскому сердцу нет утешения... Читаю его письма и плачу...

Галя согласилась передать вам письма Паши для публикации... Мы делаем это ради памяти о нем. Пусть люди узнают о добром сердце его, о светлой, отзывчивой душе, о веселом характере... Он был большим жизнелюбом и однолюбом...

Сегодня — победа... Наши, наконец-то, вернулись домой. Счастье для матерей!.. А Пашеньки нет среди них, и слез своих мы не выплачем.

С уважением,
Н. БУРАВЦЕВА
15 февраля 1989 г., Ставрополь

*Письмо первое**

[30 апреля 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, моя дорогая,
моя любимая Галинка!

Наконец закончился почти наш путь. Только что вышли из вагона. Но это еще не конец, еще ехать до города Ош, а от него на машине в горы. Рисунок, что я тебе нарисовал, был постоянной панорамой из окна вагона. На нем показаны захоронения мусульман, какого народа, я так и не понял. Но это все позади. Пейзажи, конечно, были изумительными и новыми для меня: постоянно виднелись лачуги местных жителей, старики в чалме, в халатах, как «басмачи» и все на ишаках. Большие степи маков, мутных рек, чумазых ребятишек и женщин в полосатых штанах и халатах с одной прорезью для глаз. Все это, моя Галинка, я видел из окна вагона. Под Самаркандом временами стали показываться горные хребты со снежными вершинами. И я подумал, что ты скоро тоже уйдешь в горы и сможешь прочитать мое письмо только после 10-го мая, когда вернешься. А я тем временем, наверное, доеду до места, получу форму и все снаряжение и буду учиться защищать свою Родину и, конечно, тебя. Да, где ты сейчас, моя любимая, далеко, далеко за многие сотни километров. И все равно наша любовь соединена тонкой ниткой письма и эту нить не порвать никому. Я очень скучаю по тебе и попрежнему тебя сильно люблю, очень хочется услышать твой голос, хотя бы получить твое драгоценное письмо. Но когда оно придет, я не знаю, наверное нескоро, потому что я нахожусь у «черта на рогах».

Когда мы уедем отсюда, я не знаю, обещали завтра вечером.

Вот такие дела.

До свиданья, моя милая, моя
любимая Галинка.
Твой оловянный солдатик.

Пусть ветры гудят,
Пусть бушует зима и вьюга,
Пусть люди забудут про нас,
Но мы не забудем друг друга.

Помню тебя, когда вечер наступит,
Тихо взойдет золотая луна.
Помню тебя, когда утром проснулся,
И помнить буду везде и всегда!

Прости меня, моя дорогая, очень неудобно писать.

Письмо второе (открытка)

[4 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галя!

Поздравляю тебя с праздником 1-го Мая!

Желаю всего наилучшего в твоей жизни.

Нас сейчас повели сдавать кровь и я выкроил минутку, чтобы написать тебе словцо.

До свиданья, моя единственная!
Твой оловянный солдатик.

Письмо третье

[5 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя любимая, моя милая,
моя единственная Галинка!

Вот, наконец, мы добрались до части. Она находится в каком-то городке, вокруг располагаются горы, чуть-чуть выше, чем в Нижнем Архызе, только ледники без леса.

Привезли нас 1-го Мая. Шел дождь. Нам выдали форму, вымыли в бане.

А сегодня 2-е Мая, вы, наверное, все собрались на Комсомольской Горке, чтобы ехать на Марухиаду, а мы с криком «Подъем!» быстро оделись и выскочили на улицу.

«Да, — подумал я, — люди поехали отдыхать, а я здесь — чёрте где...»

Вот такие мои дела. Говорят, что через 10 дней нас повезут выше в горы, а пока мы сидим здесь.

Извини, моя милая, писать больше не могу, уже кончается мое время.

До свиданья, моя любимая.
Целую. Твой оловянный солдатик.

Письмо четвертое

[6 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галочка!

Сегодня 6 мая. У нас небольшой перерыв. Я сижу на скамейке, и на коленях у меня моя зеленая фуражка, а на фуражке лежит чистый лист бумаги, который постепенно заполняется моим посланием к тебе.

Служба у меня проходит все еще там, на карантине, но скоро нас повезут еще выше в горы. А ты сейчас где-нибудь в Марухской долине. Да, это очень далеко-далеко, но что интересно, мы все равно вместе, ты, моя милая, в горах и я тоже, только на Памире. И все равно мы вместе, у меня есть твоя фотография и я всегда смотрю на тебя и мне всегда хочется с тобой поговорить: ты прекрасна, но почему-то грустишь и мне кажется, что ты так и будешь грустить два года.

Галчонок, ты извини, пишу перерывами, тут спокойно не посидишь: то построение, то физчас, то уборка территории и только временами бывают перерывы.

Самое сладкое слово для меня в этой жизни — это отбой, потому что после этого слова (приказа) ты не бегаешь, как угорелый, а самое главное — я могу увидеться с тобой, да, да, ты не смейся. Во сне начинается совершенно другая жизнь — жизнь на гражданке, наша с тобой жизнь.

Когда я засыпаю, я как бы прихожу к тебе, а ты идешь ко мне, и мы вместе идем с тобой гулять, путешествуем по лесам, по горам, иногда ссоримся, но тут же миримся и так всю ночь. Но потом вдруг все исчезает и под громкий крик: «Подъем!», все вскакивают, начинают натягивать штаны, наматывать портянки и другие вещи.

Сейчас меня опять перебили, опять построение... и поставили в наряд на кухню. Потому что не успел намотать портянки и сунул их за пазуху, а старшина узрел.

Вот так мы и живем, постепенно привыкаем к армейской жизни.

Но нам говорят, что это еще цветочки, скоро нас будут поднимать еще выше, я уже тебе писал, что поедем выше в горы, где-то около 5 тысяч метров над уровнем моря. Да, это вам не Кавказ.

Пока мы еще вместе с Геной Комаровым и с другими фельдшерами из Краснодарского края.

Мы часто вспоминаем, как вы там живете. Как поживают наши новобранцы, наверное, говорят, что когда же в армию, и умирают от безделья. Ничего, скоро и им придется топать сапогами. Ну извини, мне скоро уже идти на кухню.

Передавай привет всем девочкам и мальчикам, скоро напишу мой адрес.

До свиданья, моя любимая Галинка.
Твой оловянный солдатик.

Извини меня, что не могу написать хорошо.

Письмо пятое

[8 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя любимая,
моя единственная Галинка!

Поздравляю тебя с 9 Маем (правда, открытка с 1-ым Маем, извини, у меня другой нет).

Пусть у тебя все будет так, как ты думаешь и как хочешь.

Посылаю тебе адрес. Напиши мне одно письмо по этому адресу и жди моего ответа. Пока я не напишу, мне письма не пиши.

До свиданья, моя единственная.
Твой оловянный солдатик.

* Сохранены орфография и пунктуация оригинала. — Ред.

Письмо шестое
[9 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, моя единственная,
моя хорошая Галинка!

Сегодня большой праздник для всего человечества — это 9-е Мая. Разгром немецко-фашистского авангарда. Но самое главное, этот праздник очень дорог для нас с тобой. Уже прошел ровно год нашей с тобой любви, нашей жизни и взаимности. Вчера вечером ты, наверное, думала обо мне, сидя у костра или возле речки, посматривая на блеск воды и всматриваясь в небо, ища наши с тобой созвездия, нашей любви венец.

Потом ты долго думала и вспоминала, а я стоял на плацу и выбивал сапогами 1, 2, 3, тоже думал о тебе, вспоминая все и с мыслью, что мы в это время думаем друг о друге, и на сердце становится теплей, и еще какое-то чувство, которое невозможно объяснить.

Сегодня был парад в нашем поселке, была демонстрация, а нас, молодых, поставили в оцепление! А вы, наверное, тряслись в автобусе, долго упрашивали Шурика, чтобы он сыграл на гитаре, а потом пели песни под тенор Цыганкова и под фальшивый бас «Рюкзака», а потом, устав от суеты, заваливались спать.

Как я соскучился, если бы ты знала, где ты, моя любимая, на другом краю? Где мой любимый городок Ставрополь? Наверное, у вас светит солнце, и щемит сердце весна-красна.

У нас тоже весна, но я её почему-то не чувствую. Каждый день идут дожди, на вершины садится туман, иногда проглядывает раскаленное горное солнце, обжигая наши зеленые фуражки и погоны.

Сейчас нам дали чуть-чуть отдохнуть после парада, и я пишу тебе письмо без отрывов, но также на зеленой фуражке. Рядом сидят мои друзья, и Гена Комаров тоже пишет письмо, и наши письма скоро вместе пойдут домой, трясясь в пыльных вагонах, наша частичка к вашим сердцам.

Как там ты!? Не грусти и не обижайся, письма будут долго лететь к тебе и твои тоже. Такова судьба наша солдатская, мне — служи, а тебе — жди.

Тебе, наверное, в 1000 раз трудней, но ничего, я скоро вернусь.

Я тебе пошлю мой временный адрес, а когда будет постоянный, я не знаю, наверное, после принятия присяги, но напиши пока по временному адресу, может, и дойдет до меня твоя частичка тепла в холодные горы Памира. Как только придет твое письмо, я тебе сразу напишу. Не спеши, подожди моего ответа, после твоего письма.

Прости меня, моя Галинка, за мою безграмотность и корявый почерк, хотя я сам в этом виноват, провалял дурака в школе. Но ты, наверное, меня простишь, моя милая.

До свиданья, моя единственная
и любимая Галинка.
Твой оловянный солдатик Пашка.

Письмо седьмое
[15 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, моя дорогая,
моя единственная Галинка!

Сегодня у нас славный день. Голубое небо с большими белыми облаками, сильно жжет горное солнце. Но мы весь день то маршировали, то занимались «физкультом». И вот, наконец, небольшой перерыв.

Милая Галинка, если бы ты знала, как я по тебе скучаю, но с мыслью, что где-то тебя ждет любимый человек, сразу становится легче и морально и физически.

Как ты там поживаешь, чем занимаешься, как ты там, моя милая?

Ты не обижайся, если писем долго не будет, я стараюсь писать, когда есть время. Если бы можно, я бы писал каждый день. Галка заходишь ли ты к моим предкам? Ты заходи, а то я боюсь, что письма могут не доходить и вообще, и тебе, и им легче будет.

Галя, тут Гена Комаров попросил меня, чтобы ты узнала адрес Наташки Хитровой. Она сейчас на «скорой», ты ведь знаешь? Только сделай так, чтобы она не знала, для чего, ты сумеешь. А то Генчик мне уши прожужжал. Потом мне напишешь.

Милая моя, как хорошо, что ты есть на этом свете и, самое главное, что ты любишь меня, а не кого-нибудь другого. Это чувство всегда будет со мной в течение двух лет и будет моей пищей, воздухом и водой.

До свиданья, моя дорогая, пиши по старому адресу, как я говорил в предыдущем письме.

До свиданья, твой оловянный солдатик.

715300 Киргизская ССР, Ошская обл.
Апатский р-н.

Письмо восьмое
[18 мая 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, моя единственная,
моя любимая Галинка!

Сейчас прекрасный день, а точнее, сейчас 2 часа ночи, я заступил в наряд, дежурство по роте (заставе). И в этот час прекрасной звездной ночи я и хочу написать тебе письмо. Звезды здесь такие, как и у нас в Ставрополе, такая же луна и такое же небо.

Иногда кажется, что ты никуда не уезжал, а просто находишься недалеко от г. Ставрополя.

А ты, наверное, сейчас мурлыкаешь во сне, может быть, и разговариваешь со мной, а, может, просто, просто ты сейчас спишь, как и миллионы людей. Я мысленно сейчас нахожусь в нашем городе, иду куда-то по темным улицам, по пустынным дорогам и тротуарам. Рядом идешь и ты, молча, но уверенно, мимо нас иногда проскакивают сонная «скорая помощь» или милиция, но а мы идем.

Это небольшая моя мечта, этим вечером и мне просто захотелось тебе её передать.

Сейчас у меня целая ночь, чтобы тебе написать, и потому я торопиться не буду. Я все также нахожусь на старом месте, ничем серьезным не занимаемся, проходим акклиматизацию.

Когда повезут нас, нам тоже не говорят.

Я очень соскучился по дому, особенно по тебе, а еще, особенно, по твоему письму. И почему их так долго нет? Иногда я злюсь, почему письма возят на поездах, а не самолетах? Просто тревожно на душе, когда нет весточки из родного края. Но меня вдохновляет, что ты можешь читать мои письма, что они смогли донести мое сердце до твоего.

Сильной разлуки я почему-то не ощущаю, наверное, просто внушил себе.

Сейчас решил не решенный на гражданке наш вопрос, а точнее, занялся силой воли: бросил курить, так как я тебе давно обещал.

Но вот уже мой листок, кажется, начинает заканчиваться, и надо поменьше философствовать.

Милая моя! Передай привет всем, кого увидишь и кого знали, не забудь выполнить Геночкину просьбу, пиши все по тому же адресу, как я тебе сказал в предыдущем письме.

До свиданья, моя милая, моя единственная.
Твой оловянный солдатик!
715300, Киргизская ССР, Ошская обл.
Апайский р-н.
Рядовому Буравцеву.

Письмо девятое
[4 июня 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя единственная Галинка!

Сегодня у нас жаркий день. Солнце жжет, что есть силы, впивая свои раскаленные когти в зеленые фуражки. Но жару вдруг как рукой сняло, когда мне принесли 2 письма, самые дорогие письма.

Спасибо тебе, Галчонок, что письма пишешь часто, не забываешь своего солдатика. А мы, солдатики, тащим свою службу потихоньку, не спешим. Потому что спешн — не спе-

ши, а служить два года, и никуда не денешься от этого. Весь день мы маршируем или занимаемся физкультурой. Находимся мы еще на старом месте, на том же самом карантине. Обещали на этой неделе поднять, но еще не приехала медицинская комиссия, и неизвестно, когда приедет. А так у меня все хорошо, только очень по тебе скучаю и много думаю о тебе. Свое обещание «бросить курить» я выполнил, уже не курю целый месяц и почему-то не тянет, потому что обещал тебе.

Милая, ты будь внимательна, чтобы больше случая с отравлением не было и, когда поедешь в альплагерь, будь внимательна в горах и напиши мне адрес альплагеря. Также напиши мне содержание фильма («Пришло время любить»).

Галина, ты не скучай и не переживай за меня, и не вздумай считать дни. Лучше не думай о разлуке и тебе будет легче. А за стихи тебе спасибо, только мне чуть чуть завидно, что не я их написал, а кто-то другой. Но я люблю тебя все равно сильнее, потому что ты любишь меня. А то, что тебя любят другие, это не удивительно, потому что прекраснее тебя я еще никогда не встречал и больше не встречу.

Я часто всматриваюсь в пустынные горы, в звездное небо, на уходящее солнце, которое уходит с востока на запад, на родной запад. И я мечтаю, что скоро мы вместе с тобой пойдем в горы, и будем свободны и счастливы, и больше никогда не будем разлучаться с тобой, только всегда вместе. Это я тебе обещаю.

Сейчас подошел Гена Комаров, передает большой привет и большое спасибо за адрес. Он меня хоть чуть-чуть утешает, потому что мы часто вспоминаем наш родной край. Сегодня нам удалось сфотографироваться. Кое-как нашли деньги, купили пленку. У одного старослужащего был фотоаппарат, и я надеюсь, что ты в скором времени сможешь получить мою фотографию.

Извини меня, моя любимая, что заканчиваю свое письмо и наделал много ошибок. Не поминай лихом, пиши побольше, как пишешь сейчас.

Напиши про судьбу пацанов и про поход.

До свиданья, моя дорогая, моя единственная
на всем этом свете.
Твой оловянный солдатик Пашка.

Письмо десятое

[*5 июня 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галинка!

Сегодня получил два письма от тебя, два счастья в солдатской жизни. Самое родное, самое дорогое из дальних мест. У меня опять появилась возможность поговорить с тобой и узнать, как ты там без меня.

А как живу я, родная, да все по-прежнему. Сегодня у нас началась учебка: все — по расписанию, все — по уставу. Полдня бегали, занимались физкультурой, а сейчас занимаемся муштрой и, наверно, до самого обеда. А я сегодня в наряде на кухне, занимаюсь мытьем на кухне посуды и заплывами на полах. Правда, я считаю себя более счастливым, чем мои однополчане, потому что у нас сейчас перерыв до обеда, и я могу спокойно посидеть подальше от начальства, смотреть на зеленые горы и думать о тебе.

О тебе, моя милая, я думаю постоянно. И когда мне трудно, и когда мне грустно, и когда весело, и когда сплю. И эта мысль никогда не будет покидать меня, потому что я люблю тебя, люблю и буду любить. А эти два года мне кажутся испытанием наших чувств и закреплением наших с тобой характеров и любви. Да, моя милая, я уже солдат, мне даже еще не верится, но это так. И меня иногда вдохновляет и радует, что я солдат, русский солдат, что мне оказаны честь и доверие охранять спокойствие моей Родины, моей матери, моего города, а самое главное, моей любимой, чтобы вы могли спокойно спать и видеть сладкие сны, чтобы пели птицы над твоим окном, чтобы светило солнце, шумели листья и шелестела трава, чтобы не охватило все это пламенем огня, чтобы не почернело небо от гари пороха. И потому я здесь за сотни, тысячи километров, и ты это хорошо понимаешь, и мне легче служить, потому что ты меня любишь. А мне от жизни больше ничего и не надо.

Любимая, я рад, что у тебя все хорошо, что ты меня любишь и ждешь. А я как ты пишешь, смирился, я даже не пойму, с чего ты это взяла, неужели ты думаешь, что я это смогу? Просто я внушил себе, что с каждой минутой и с каждой секундой, с каждым часом, с каждым днем приближается кончина нашей разлуки, и что по крупице, как песочные часы, она закончится и мне представится самое счастливое время, счастливей я даже не представляю и не могу представить, когда мы будем вместе и никогда не расстанемся.

Иногда на вечерней поверке я долго смотрю на ночное небо, на тоскливую Луну и далекие звезды и даже забываю, что я далеко от дома.

Ну, извини меня, пора заканчивать письмо. Пиши почаще и я тоже буду стараться писать чаще и мечты наши с тобой сбудутся, и мы навека будем вместе, ведь мы этого хотим, мы любим друг друга и не можем жить иначе, мы созданы друг для друга, так захотелось природе и нам с тобой.

До свиданья,
твой оловянный солдатик
Пашка

Письмо одиннадцатое

[*11 июня 1985 г.*]

Здравстауй, моя милая, любимая Галочка!

С огромным приветом к тебе я с Памира, пограничных войск, твой Пашка. Уже прошло почти месяца полтора, а мы все сидим на старом месте, правда обещали 11 числа нас поднять, но не знаю, что из этого выйдет. Пока только прошли медкомиссию, меня пропустили и Гену тоже, теперь ждем отправку и никак не дождемся.

Сегодня у нас выходной, а вчера был банный день. Нас водили на горную речку, чтобы постирать обмундирование. На это всего дали 3 часа. Была очень хорошая погода, временами я даже забывался, что я в армии, такое состояние было, что я в нормальном гражданском походе. Кругом горы, светит солнце, пасутся коровы, пахнет навозом и снегом, как в Архызе.

Спасибо тебе, милая, что ты меня не забываешь. Я не могу жить без тебя. Мне кроме тебя, никого и ничего не надо, твоя любовь будет вдохновлением на трудности, и я только тобой и живу. И вся солдатская служба пройдет хорошо, и я буду служить так, чтобы тебе не было стыдно за меня.

Спасибо тебе также, что не забыла поздравить меня с праздником, Днем пограничника, потому что для нас этот праздник прошел, как в будни, только в столовой выдали по одному печенью, а весь праздник за нас отпраздновали офицеры.

Ты не беспокойся, дорогая, здесь ничего опасного нет и не слушай, что тебе рассказывают. В большинстве все преувеличивают. Если не быть дураком, то можно выжить везде. Так что не беспокойся, вернусь я живым, здоровым и выносливее, чем был, ведь мы — пограничные войска.

Любому врагу дадим отпор.

Галинка, как хорошо, что ты есть на этом свете, ты даже не представляешь, у меня такое чувство, что ты мне нужна больше, чем воздух и вода. Постоянно думаю только о доме и о тебе и никогда не устану думать о тебе, моя милая.

Галка, а что Марина передала привет только мне? Почему ты не сказала, что мы вместе с Геной Комаровым.

Так что теперь, когда будешь встречать, передавай большой привет от нас, также передавай привет Зухре, Ольге и остальным девчонкам.

Галочка, скоро придет письмо к моим родителям, я им выслал пленку, и они должны сделать фотографии, ты зайди и возьми мою фотку. Потому что здесь мы фотографии сделать не смогли, и я кадры отослал домой.

Милая, я даже не знаю, какой написать тебе адрес или новый, или старый. Напишу, наверное, новый — все-таки должны нас отправить.

736600 Таджикская ССР ГБАО

А если твои письма придут, а нас уже увезут, не расстраивайся, их тоже отправят вслед за нами. Не забудь написать свой домашний адрес, а то я его не помню и книжку записную потерял, а также адрес альплагеря.

До свиданья, моя дорогая, моя единственная на всем этом свете. Спи спокойно, мы вас защитим.
Твой оловянный солдатик ПВ.

Письмо двенадцатое
[23 июня 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галинка!

Горячий поцелуй и привет тебе с Памирских гор.

Вот прошло уже два месяца моей службы, пошел третий месяц.

От тебя уже давно не было писем и поэтому настроение плохое. Сегодня у тебя, наверное, был последний экзамен и ты, наверное, сдала его на «5», а вечером собираешься ехать домой и поэтому я еще больше огорчен, что не помню твой домашний адрес, и боюсь, что мое письмо до тебя не дойдет.

Служба моя потихоньку тянется, но очень хочется, чтобы катилась.

Мы все время пропадаем на полигоне. Бегаем с автоматами и другим снаряжением, ползаем по-пластунски, роем окопы, дышим и даже поем в противогазах. Конечно, очень трудно и утомительно, но я креплюсь. Иногда, когда ползем по камням, грудь сдавливают твои письма, и становится еще тоскливей на душе, и злее начинаешь ползти и быстрее, не обращая внимание на боли от острых камней.

Родная, если бы ты знала, как я скучаю и тоскую по тебе. И, когда лезут дурные мысли, что я тебя больше никогда не увижу, и, что ты меня забудешь в долгой разлуке, то всегда стараюсь выбросить из головы эту глупую мысль. Больше, конечно, думаю о нашей встрече с тобой в далеком будущем.

Всегда кажется, что я пишу тебе мало или не то, что нужно. Писатель из меня плохой, а в душе у меня все накапливаются чувства, которые я хочу изложить тебе письменно, но не получается.

Особенно трудно становится во сне, когда мы с тобой встречаемся, а наутро приходится расставаться. Это для меня самое большое испытание и пытка.

Сейчас мы учимся пограничной тактике, из нас, с помощью «муштры», выбивают все и закладывают то, что нужно для пограничника. Конечно, служба нам досталась, что не поешь. И я стал понимать, как легко было на гражданке, в горных походах и в альплагере, когда ты был свободен, как горный орел, и рядом была ты, моя соколица. Как было хорошо! А теперь ты «барбос» с ошейником, на плечах погоны, с автоматом, и никакой свободы совершенно.

Галчонок, я послал домой еще фотографии, на снимке мой друг Крыгин Толик, сам он из Курска, я тебе писал стихи, которые он сочинил.

Галчонок, ты должна зайти к моим предкам и забрать фотографии. Высылать фотографии на твой адрес я не стал рисковать, потому что ты, наверное, уже уедешь на каникулы, да к тому же собираешься в скором времени в альплагерь.

Галчонок, не забывай меня, ведь я тебя только люблю на этом свете и тобой живу. Жди меня, я скоро вернусь к тебе, ты знай.

Твой оловянный солдатик.

Письмо тринадцатое
[30 июня 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галинка!

Большой привет тебе с Памирских гор от твоего любимого солдата.

Галчонок, сегодня у меня знаменательный день, сегодня 30.06.85 г. я присягнул перед Родиной с автоматом в руках, перед Красным Знаменем части.

Да, сегодня наша учебка приняла присягу, теперь мы стали полноправными воинами и ответственными перед Родиной.

Этот день, как многие дни, когда принимается присяга, делается выходным днем, но этот день и, без всяких, сам по себе, выходной. А мне повезло вдвойне, я заступил в наряд и вместо того, чтоб идти со всеми в кино, я принимаюсь за уборку туалета.

Но вот я закончил убирать, и кино кончилось.

Вчера получил от тебя два письма и одно из дома от двоюродной сестры. Они не сразу попали ко мне, а сначала попали в автороту из-за неправильного кода, надо писать не «У», а «УП». Спасибо сержанту, который их случайно взял. Я, конечно, не успокоился, боюсь, что много писем, которые ты мне выслала, будут попадать туда, а не ко мне, но я надеюсь, что они все попадут ко мне.

Спасибо тебе, милая, что ты достала адрес этих «обормотов», а то они и в ус не дуют, чтобы меня разыскать.

Теперь я напишу этим «шурупам», как живут погранцы (огурцы). «Шурупы» — это все войска, мы их так называем и всю Советскую Армию. А мы — войска КГБ, и этим гордимся. Мы считаемся самыми ярыми в Союзе, и ты сама об этом писала мне в некоторых письмах. Конечно, им очень хорошо, что они попали вместе. Но, а мы, как я загадывал, попали с Геной Комаровым. Ты, наверное, помнишь, когда мы шли вечером, и я загадывал, где я буду служить и с кем? Так и вышло — я на Памире, в самом высокогорном отряде и, конечно, вместе с Геной. Это очень хорошо, что мы попали вместе, потому что друг всегда остаётся другом, к тому же я нашел новых друзей.

А ты, милая, когда передаешь приветы, не забудь писать и про Гену. Он, правда, всегда передает тебе привет, когда я пишу тебе письмо, но я иногда забываю тебе его писать.

Галчонок, мне что-то непонятно с альплагерем? Ты, что не собираешься туда ехать или не можешь? Ты постарайся съездить, не пожалеешь. Узнаешь много нового, увидишь много интересного, познакомишься с новыми интересными людьми. У нас тут на складе много горного снаряжения, предназначенного для стрелков застав и Афганистана и я думаю, что мои знания по горной технике пригодятся в моей дальнейшей службе.

Постоянно, когда мы выходим на тактические занятия, я вглядываюсь на реденькую травку, которая растет. Желтый цветок и пучок травы на один кв. километр. И ты, может, догадалась, что я хочу найти эдельвейс, горный цветок — символ верности и любви. Есть такое поверие в народе, что если парень подарит любимой девушке эдельвейс, значит он любит её по-настоящему, до гробовой доски. И я обязательно найду его для тебя, обязательно, ведь я тебя так сильно люблю. Ты — моя богиня, вдохновляешь меня на подвиги и трудности.

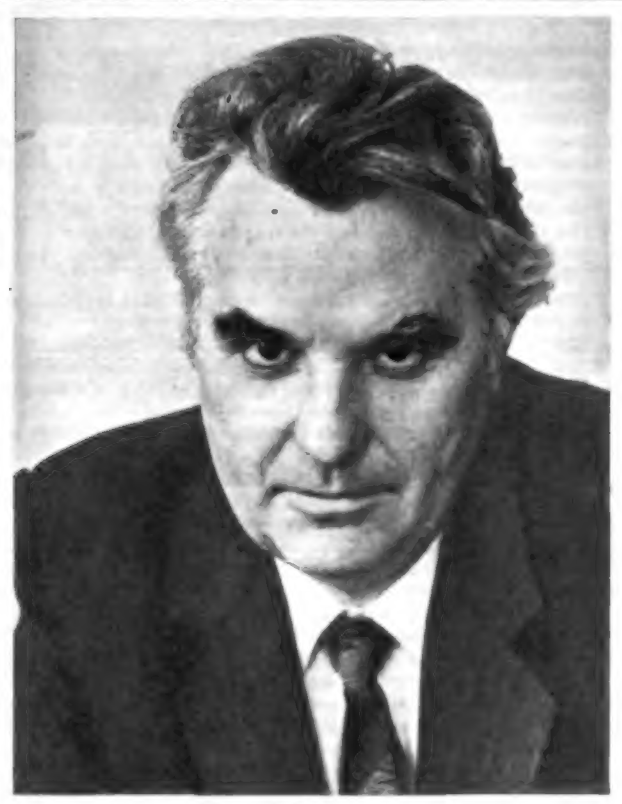
Да, моя милая, любимая, я тоже вспомнил тот день, когда я пришел в черном костюме, чтобы больше огорчить тебя. Ведь мне всю жизнь не везло ни в чем. И первое везение, это, когда встретил тебя. Ты изменила всю мою жизнь и не дала мне спуститься по наклонной плоскости. Да я тоже вспомнил тех чумазых солдат, которым мы уступили дорогу и провожали их взглядом. А еще сказал, что скоро я тоже так буду топать. А ты говорила: «Когда это будет?» Но теперь это уже не сон, а на самом деле.

До свиданья, моя единственная, моя любовь
Твой оловянный солдат, Пашка.

Публикация Н. П. БУРАВЦЕВОЙ

(Продолжение в № 8)

СЛОВО О СЛОВЕ



Анатолий Зиновьевич ШВИДЕНКО родился на Украине, в селе Новая Гребля Черкасской области. Закончил лесной факультет Украинской сельхозакадемии. Более восьми лет работал лесоустроителем, главным лесничим на Сахалине, на Дальнем Востоке, потом преподавал в той же академии, где учился сам, работал в лесной науке... Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор лесного научно-исследовательского института. Автор пяти научных книг по проблемам лесного хозяйства и использования лесных ресурсов.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Анатолий ШВИДЕНКО

Слово — это чувство родной земли, это живущий в самых глубинах твоего естества голос предков. Земля, на которой ты родился. Для меня — это росы рассветов далекой юности; соломенные стрехи той, уже ушедшей навсегда в прошлое Украины; дым чумацких костров — то ли наяву, то ли в нетороплививых рассказах стариков. И здесь же рядом — земля, по которой ты прошел и старался оставить след своего труда, и она становится тебе такой же родной. Может, это — холодная сахалинская река Пиленга, под неярким солнцем успокоенно проносящая свои чистые воды между красными от железа берегами. Или щемящее чувство неизбежности расставаний, которое охватывает пустынным осенним вечером на высоком охотском обрыве, а ветер, жестяно позванивая пожухшей травой, скатывается в безбрежную синь простора и свободы. Наверное, именно в такие минуты приходит к человеку слово подлинного единения со своей землей, то чувство сопричастности и ответственности за весь этот огромный и незащищенный мир, которое и позволяет человеку чувствовать себя человеком.

Слово — это твой родной язык, язык Котляревского и Кобзаря — Тараса Шевченко. Это язык великого русского народа, старшего брата всех славян. Для меня никогда не существовало проблемы взаимоотношений языков — за каждым из них стоит культура народа, и воистину — сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек. И какое иное чувство, кроме глубокой благодарности за возможность зайти в беспредельно мудрый дом, обратиться к гигантам духовности и гуманизма, может вызвать слово Пушкина и Гоголя, Достоевского и Бунина, Платонова и Булгакова!.. И что, кроме радости человеческого общения во имя возрождения души народной, может принести язык межнационального общения — великий и могучий русский язык. И мне дорого, что праздник славянской письменности, начавшись в старинных российских городах, как перекличка и передача подлинных духовных ценностей, в мае приходит на родину Кобзаря, приходит , чтобы всем миром отметить 175-летие со дня его рождения.

Никогда ни один язык не угнетал другой. Находились люди и группы людей, которые вершили свои черные дела, используя в качестве средства принуждения и язык.

Сегодня, когда в стране обнажились столь серьезные национальные проблемы, очень важно отъединить зерна от плевел. И здесь вспоминаются замечательные мысли В. И. Ленина, прозвучавшие в его известной статье о языке ровно три четверти века назад: в многонациональной стране не может быть настоящего прогресса без языка межнационального общения, обеспечивающего доступность ко всем сокровищам отечественной национальной и мировой культуры. Но опять вспомним ленинские слова — такой язык не может вводиться по принуждению, из-под палки. Известно, что этот принцип часто нарушался, но нет ли опасности национального ограничения, например, в том, что некоторые прибалтийские республики вводят в качестве государственного только свой родной язык? Не является ли это весьма распространенной реакцией — отвечать несправедливостью на несправедливость?

Нет, конечно, далеко не все ладно в нашем непростом мире. Мы пережили (хочется верить — уже пережили) период ужасающего разрушения нравственности. Когда уничтожали инакомыслящих. Когда выбивали просто думающих и всех, кто случайно подвернулся под карающую руку. Когда разрушали самое главное, на чем держится вся суть человека,— необходимость труда. И когда — в совсем уж недалекие годы —

думали одно, говорили другое, делали третье. Надо понять, почему период застоя принес не меньшие духовные потери, чем темные времена в окрестностях тридцать седьмого. Только ли накопление утрат, переход количества в качество? Думается, не только, ибо самое разрушающее для мыслящего человека — это отсутствие понятия истины и веры в эту истину; а так бывает всегда, когда оказывается, что истины вообще не существует, а есть приемлемый (как правило, для власть имущих) суррогат, оправдываемый, разумеется, высшими соображениями. Фашизм довел эту логику до закономерного конца — «прав ты или нет — для нашего государства все равно» (надпись в одном из блоков Бухенвальда, где содержались коммунисты.)

И в слове, и в деле фанатизм и нетерпимость никогда не были гуманны. Известная строка Маяковского — «и тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас» — не только потрясающе антидемократична, ибо логическая цепочка выстраивается сразу (если против, значит, враг; если враг не сдается, его уничтожают), но и свидетельство определенного способа действия: всегда найдутся те, для кого слово — не доказательство. Наверное, стоит задуматься, почему эту строку можно почти дословно найти в Экклезиасте.

Века нам оставили достаточно доказательств, что из глубин истории время изымает только то слово, которое возвышает человеческое в человеке. В конечном счете, плюрализм мнений в правовом социалистическом государстве есть отражение той истины, что ни одна часть общества, даже самая прогрессивная с точки зрения общепринятых канонов, не может монополизировать понятие истины. Разнообразие всегда было признаком устойчивости любого живого сообщества.

Много потеряно, и многое невосполнимо, и много об этом сказано. Но не становимся ли мы невольными пленниками инерции рассуждений, обращенных в беды прошлого? Нет, речь идет не о том, чтобы забыть и простить. Но все отчетливее потребность в слове, обращенном в будущее.

Все имеет свое начало и не имеет его, ибо корни сегодняшних начинаний — в днях прошедших. И лишь слово, верный страж неразрывности цепи времен, всегда в начале: и когда обозначает рождение мысли, а, значит, человека; и когда становится осознанной программой действий; и когда ведет душу человека к глубинному пониманию его предназначения на земле.

Перестройка сделала только первые шаги: мы только в самом начале пути, обозначенного в большей части своей словом. Очень важно понять, что реализация ее замыслов — дело архитрудное и длительное, ибо основной факт борьбы проходит не между сторонниками и противниками перестройки (он, конечно, тоже есть), а внутри каждого из нас — и именно здесь решается судьба и каждой личности, и направления развития общественного прогресса в целом.

Здесь — как всегда на крутых поворотах истории — главная надежда на слово: помоги осмыслить, останови разорение души, поддержи в ней ростки добра и справедливости.

И если быть объективным, то, уверен, есть все основания для оптимизма. Сколь бы ни ощутимы были наши потери, они не могут изменить главного: глубинно гуманной сути русского советского человека, альтруизма его души, открытости всему лучшему в мировой культуре, удивительному сплаву терпения и трудолюбия, особой прочности его духовных структур.

Но думать есть о чем.

Среди самых остроболезненных слов сегодня триада — природа, экология, человек. Сколь ужасающе быстро — не в историческом аспекте, а прямо на глазах живущего поколения — превращается среда обитания в среду трудного выживания. «Там котел на полнеба рванет, там река не туда повернет...» Это, хотя отчетливые, но только внешние проявления удручающего своей массовостью процесса. Поднимитесь над землей, спросите — сколько у нее сейчас болевых точек? — и ужаснетесь ответу. Начинают белеть местами украинские черноземы — за последние десятилетия мы уже потеряли по крайней мере пятую часть гумуса, который природа собирала для нас тысячелетиями. Еще немного — и неэрозированные пашни можно будет записывать в Красную книгу... Сыплется соль из облаков в тысячах километров от породивших ее донных обнажений угробленного нами многострадального Арала. Рыжие пространства умирающих лесов окружают нефтеразработки Тюмени. Что вспомнить еще? Норильск, съедающий леса в сотнях километров от своего знаменитого комбината? Гибнущие пастбища Казахстана и Калмыкии? Все тот же Байкал? Не становится ли болевых точек столько, что начинает казаться, что вся биосфера — единая болевая точка?

То, что мы делаем сегодня с природными ресурсами нашей страны, можно квалифицировать одним словом — варварство, причем варварство нового, высокомеханизированного типа. Куда там всяким гуннам и батыям. Кто ответит, сколько мы вылили тюменской нефти за соучастные нам 20 лет в Мировой океан? Почему из срубленных сотен миллионов кубометров древесины каждый второй гибнет на пути к потребителю? Почему многомиллиардные затраты на мелиорацию оборачиваются экологическими преступлениями? Кто допустил, что за последние четверть века мы практически потеряли чуть ли не треть дальневосточных кедровых лесов — неповторимое создание природы? И если справедливо утверждение, что отношение к природным ресурсам есть свидетельство уровня культуры нации и мерило совершенства общественного устройства, то что же мы можем сказать себе отрадного?!

Мы научились искать ответы, обвиняя власти и порядки. Да, многое осталось от прежних времен, и много еще не расчищенных завалов в бюрократических дебрях. Но главное, уверен, в другом. Мы воспитали целый социальный тип временщика, не хозяина, а потребителя, исповедывающего известную философию — на наш век хватит, а после нас — хоть потоп. Только начинает не хватать и на наш век, не говоря уже о грядущих.

Бесспорно справедлива мысль, что только тогда охрана природы имеет все шансы на успех, когда экологическая культура становится глубинно-составляющей человека. «Не вреди!» — это уже заповедь, относящаяся ко всем нам, ибо каждый из нас — либо врач, либо враг природы.

Мы только начинаем осознавать, сколь мал и уязвим наш общий дом — Земля. То, что в лесах Европы почти половина заболевших деревьев — это и наша потеря, это тот кислород, которого, возможно, не будет хватать нашим детям. Пятую часть всякой мерзости, которая к 2000 году осядет на европейскую часть нашей страны, мы получим за счет трансграничного атмосферного переноса от цивилизованных соседей. Парниковый эффект, глобальные изменения климата, флоры и фауны нарастают быстрее самых пессимистических прогнозов — не только за счет загрязнения атмосферы, но и за счет катастрофического уничтожения тропических лесов — их земля ежегодно теряет на площади около 15 млн. гектаров.

Надо найти слово, которое убедит народы и правительства не только в необходимости взаимопонимания, но и в немедленных энергичных совместных действиях. На земле никогда не ощущалось недостатка в оружии, но всегда не хватало хлеба и добра! Так, может, наступило время, когда умнеть должны все? Когда не количеством ракет, а числом шагов навстречу друг другу определяется вклад в наше общечеловеческое здание?

Надо найти слово, которое придаст новое звучание великим и непреходящим истинам, которые во все времена и для всех народов определяли самоё человеческую суть.

Надо найти слово, которое прорвется, как живая вода, в наши заждавшиеся души, умножит духовную силу народа, высветит истинную мощь нашего общественного строя и поведет свободных людей к свободному труду.

У нас всегда было такое слово. К счастью, и время наше ждет такого Слова. Теперь дело только в нас самих, чтобы каждый, обращаясь к своей судьбе, мог сказать вслед за великим Кобзарем:

Ми не лукавили з тобою.
Ми чесно йшли. У нас нема
Зерна неправди за собою.

Духовная перекличка наций и поколений, неизбывность чести, правды, совести, справедливости и милосердия, самый незамутненный критерий нравственного здоровья народа — слово.

Материализация нематериального, сгусток времени, слепок общественного разума, его свидетель и судья — слово.

Да, слово, как родная земля, бессмертно и многострадально. Как наша жизнь — хрупко и уязвимо. Как дерево — растет веками и остается на века...

Будем всегда помнить это...

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО СОВЕСТИ?!

Виктор КАЛУГИН



Родился в 1943 году, в Латвии. Закончил Литературный институт им. М. Горького СП СССР, член Союза писателей СССР, научный сотрудник ИМЛИ им. М. Горького АН СССР.
Историческая память и фольклор, фольклор как «генетический код» народа, выражение его философских и нравственных идеалов и идей. Таков круг проблем, которые ставит в своих исследованиях писатель Виктор Калугин. Он автор книги «Герои русского эпоса» («Современник», 1983), в последние годы в разных издательствах вышли подготовленные им фольклорные сборники: «Былины» («Современник», 1986), «Песни, собранные П. В. Киреевским» (Тула, 1986), «Былины» («Правда», 1987), «Жили-были», «Волшебное слово» (Библиотека молодой семьи, «Молодая гвардия», 1988), «Литературные сказки народов СССР» («Правда», 1989). В издательстве «Современник» скоро выходит его новая книга очерков о народной культуре «Струны рокотаху...» Обращение к истории и фольклору для Виктора Калугина — это не уход от современности, не некая тихая академическая гавань, где можно заниматься «чистой» наукой, а попытка найти ответы на самые острые нравственные вопросы современности.

«Как судить — по закону или по совести?» Такой вопрос для юриста звучит в лучшем случае наивно. Один из них в передаче «Взгляд» так и заявил: не построить нам правового государства, если мы по-прежнему будем уповать на пресловутое р а с е й с к о е (так он произнес — с растяжкой): «Как судить — по закону или по совести?»

Так вот мне кажется, что нам вообще не построить правового государства без высшей народной мудрости, если только юридическими законами мы заменим законы совести. Если о правовом сознании будем судить только по количеству юристов на душу населения, как о здоровье народа — по количеству врачей и койко-мест в больницах.

Вся духовная и философская мысль России, начиная со «Слова о законе и благодати» Илариона, основывалась на признании высших законов совести. «Ибо закон, — писал Иларион, — предтечей был и слугой благодати, истина же и благодать — слуги будущему веку». По этому духовному пути Русь прошла тысячелетие. Так неужели же сейчас мы вновь будем возвращаться вспять: начинать с «закона вместо того, чтобы продолжить принятый и выстраданный народом путь «благодати»?..

Все это не значит, конечно, что мы должны усомниться в необходимости правовых реформ, правового сознания. Нет, речь идет лишь о том, чтобы не заменять и не подменять одно другим: законы — совестью, а совесть — законами. В жизни народа веками существовали так называемые неписаные законы, которые бывали и выше юридических. Сам вопрос: «Как судить — по закону или по совести?» свидетельствует не об отсутствии правового сознания, а о том, что суда «по совести» человек боялся гораздо больше, чем суда «по закону».

Все это имеет самое непосредственное отношение и к нашей литературной жизни, которая не может основываться только на Уставе Союза писателей СССР или же на Законе о печати. Врачи — целители телесных недугов — дают клятву Гиппократа. Как бы ни была она условна, но каждый врач, нарушающий ее, все-таки знает, что он преступает некую нравственную границу дозволенного, что он клятвопреступник. У нас — целителей духовных недугов — такой клятвы нет. Отсюда, как мне кажется, и все остальное. От того, что сместились нравственные понятия, неписаные законы совести.

А иначе главный редактор «Огонька», публично уличенный во лжи, должен был бы сам — во имя защиты своей чести — подать в отставку. Точно так же, как главный редактор «Знамени», публикуя провокационную анонимку, не мог не знать, что она болезненно отзовется у многих... И он должен был, по меньшей мере, признать свою редакторскую ошибку, но, судя по его выступлению в телевизионной передаче, виновников сего он ищет на стороне, так же, как и редактор «Огонька»...

Мы продолжаем жить по другим неписанным законам, по которым цель оправдывает средства. По отношению к литературному оппоненту все средства хороши. А потому всякого рода нравственные нарушения под видом самых благих намерений стали едва ли не нормой.

Закон о печати, конечно, даст возможность за клевету, за извращение фактов, за оскорбление личности привлечь хотя бы к суду. Но здесь, как и во всем, необходимо различать причину и следствие. Почему подобное стало возможным в печати? Не потому же, что нет наказующих мер? Причина, видимо, все-таки в том, что перестали действовать законы чести, когда любой писатель или журналист дорожит незапятнанностью своего писательского имени, знает о неизбежности суда чести. В литературной борьбе тоже существуют свои удары «ниже пояса». У нас же сейчас появились мастера именно таких запрещенных ударов, наносимых прилюдно, на глазах у миллионов читателей и зрителей. В 20-е годы довольно много шума наделало движение под лозунгом: «Долой стыд!» Сейчас мы демонстрируем свободу слова примерно на том же самом уровне. Отсюда и шум. Под видом гласности мы снимаем с себя все нравственные «запреты» и предстаем перед всем миром в весьма неприглядном виде.

Происходит же подобное, как мне кажется, во многом потому, что у нас никогда не было «желтой» прессы и ее приемы сногсшибательных «сенсаций», «сенсаций» любой ценой, оказались чем-то неожиданным, новым. Но в зарубежной печати «желтая» пресса так и называется «желтой». Ни один «желтый» журнал не сможет претендовать на роль властителя дум, не делает «погоды» в литературе и искусстве. У нас же все оказалось перевернутым с ног на голову. Ни один уважающий себя, свое доброе имя журнал, уверен, не предоставил бы свои страницы провокатору Норинскому, это мог сделать только «Огонек», еще раз доказавший тем самым, что для него не существует никаких моральных норм, границ элементарнейшей человеческой чистоплотности.

Мы даже не замечаем (историческая память у нас очень коротка), что все это уже было, что мы уже имели своего некоронованного короля журналистики — Фаддея Булгарина. Булгаринская «Северная пчела» пользовалась самой большой популярностью, по смелости, по актуальности, по остроте с ней не могло сравниться ни одно издание, включая пушкинский «Современник». Не говоря уже о том, что и в коммерческой литературе Булгарин не знал себе равных. Ни один роман того времени не выдержал столько изданий, как булгаринский «Иван Выжигин». Но Иван Киреевский не случайно говорил о своем «Европейце»: «Это будет журнал, не запачканный именем Булгарина». Булгарин добился всего, но единственное, что не удалось ему завоевать — ни у современников, ни у потомков — так это доброе имя. Неписанные законы совести оказались сильнее любой коммерции и политиканства.

Так что и здесь «Огонек» идет по проторенному пути. Жаль лишь читателей, которые верят, принимают его «смелость» за чистую монету. Верят и таким заверениям Коротича: «Вот вы смотрите, что бы об «Огоньке ни говорили, нас ни разу не поймали на лжи. Вы представляете, что бы со мной сделали, если б меня поймали на неточности, если бы я напечатал хоть отдаленно на том уровне, на котором печатают шовинистические журналы в Москве? Не поймали!» Это из интервью Коротича газете «Молодежь Эстонии» (18 февраля 1989), но подобные его интервью во время предвыборной кампании появились во многих других газетах, в основном молодежных, и по зарубежным радиоголосам. Что ж, не пойманный — не вор! Будем и дальше жить по этому принципу, узаконившему у нас воровство.

Впрочем, я и не собираюсь уличать никого во лжи (это сделал журнал «Политическое самообразование), вообще не понимаю эту взаимную ловлю, взаимную охоту друг за другом. Стоило, например, Владимиру Личутину при выдвижении кандидатов на пленуме СП СССР сказать, что он дает себе самоотвод, потому что не может быть в одном списке с Коротичем, как тут же в интервью Би-би-си Коротич заявил, что Личутин призвал к созданию резерваций для малых народов. Вслед за ним уже в «Огоньке (№ 11) Наталья Иванова развивает это обвинение, приводя вроде бы вещественное подтверждение — отрывок из стенограммы пленума СП РСФСР, где Личутин действительно произнес слово «резервация», да только в совершенно другом, первичном его значении — сохранении, а не уничтожении национальных культур. А это и называется — ловить на слове, передергивать. Приемы, опять же, из числа запрещенных, но именно этими приемами уже многие десятилетия пользуется наша критика как едва ли не основными при сведении счетов, при очередном нападении на своего противника.

Из этого же арсенала и другой прием: нападение с наклеиванием ярлыков, когда не только московские журналы, а все «крыло русской литературы» Коротич называет шовинистическим. Но ведь шовинизм, как и любой другой вид расизма, по нашим законам — уголовно наказуемое преступление. Как и любое другое преступление, оно должно быть, прежде всего, доказано. Иначе любые обвинения в шовинизме, как, впрочем, и сионизме, в свою очередь, наказуемы по закону. Быть может, в правовом государстве так оно и будет. Хотя западную «желтую» прессу не всегда останавливают даже солидные денежные штрафы: скандалы и сенсации приносят гораздо больший доход. Просто сейчас клевещут усердно и бесплатно, а в будущем им, видимо, придется за это платить деньги. Вот и вся разница. Суть же остается прежней. Впрочем, дело не в «Огоньке» (что пенять на зеркало...), а в том, что нельзя дальше, дальше и дальше идти по пути непри-

миримости и вражды, которую он разжигает. В этом смысле лично я не вижу разницы между Коротичем и Васильевым, их вполне можно поменять местами. Крайности сходятся.

Крайности «Памяти» и крайности Евгения Евтушенко, которому все мерещатся лабазники с Охотного ряда. У страха — глаза велики. У страха перед всемирным заговором против России. И у страха перед Россией.

Но зачем нагнетать этот страх, впадая в кликушество, зачем играть на очень болезненных, взрывоопасных чувствах? Сейчас, уверен, многие начинают догадываться, что здесь явно не чисто, что все это попахивает гапоновщиной.

«Где закон, там и преступление», «закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет», «кто законы пишет, тот их и ломает» — эти горькие истины возникли тоже далеко не случайно, за ними опыт столетий. А кто даст гарантию, что у нас тоже больше не будет «воров в законе», что щелоковы и чурбановы — это уже прошлое, что подобное никогда не повторится?..

Создание правового государства становится для нас панацеей от всех бед, каких было уже немало. Хотя и здесь нам тоже не помешало бы вспомнить об истории. Не только своей. «Веймарская республика,— отмечает доктор исторических наук В. Логинов, — в Германии считалась одним из самых правовых государств в мире. Со свойственной им дотошностью и пунктуальностью немецкие юристы написали целые тома законов, которые, казалось бы, предусмотрели все — и разделение власти, и функции их, и контроль... Но это не помешало Гитлеру прийти к власти, причем демократическим путем — в результате всеобщего голосования. Мало того, придя к власти, он прекрасно использовал ту же веймарскую конституцию в своих целях. Полагать, что демократия есть некий универсальный механизм, способный раз и навсегда гарантировать нам все права и свободы, защищать от угрозы антинародной диктатуры — иллюзия. Демократия лишь облегчает условия для борьбы, а ее исход решается реальным соотношением сил и энергией масс. Единственная гарантия — это мы сами».

Добавлю к этому — наша совесть. Если, конечно, она не деформирована настолько, что мы уже не в состоянии отличить добра от зла...

Сможет ли Закон о печати, например, привлечь к ответственности за литературную критику, которую еще Достоевский называл «доносительной». А именно такая «доносительная критика» десятилетиями процветала и процветает в нашей печати. Это, собственно, и не литературная критика как таковая, а идеологическое начетничество, изощреннейшее ремесло по выявлению отступлений от классовых позиций, от теории двух культур, от положений классиков марксизма-ленинизма, от высказываний революционеров-демократов, где эти положения и высказывания превращались в идеологические удавки, с помощью которых душились проявления любой живой мысли. Впрочем, не любой. В этой охоте за ведьмами была определенная логика. Душились ростки национального самосознания, всего того, что можно было подвести под политически наказуемую статью пресловутой «патриархальщины», под славянофильство, под религиозность, под монархизм...

Все это было не в далекие 20—30-е годы, а совсем недавно. У времен застоя тоже были свои «неистовые ревнители». В 1980 году в «Литературной газете» появилась статья В. Кулешова «А было ли «темное царство»? Уже сам этот вопрос звучал как прямое обвинение в идеологической крамоле. Как посмел Михаил Лобанов в книге об Островском усомниться в существовании «темного царства»? Как мог Юрий Лощиц в книге о Гончарове ни разу не сослаться на соответствующее ленинское высказывание об обломовщине? И сейчас действительно трудно представить, как, каким образом в самые тяжкие годы застоя в серии «ЖЗЛ» могли выйти книги о Гончарове, Островском, Достоевском, Гоголе, не укладывавшиеся ни в какие прокрустовы ложа нашего догматического литературоведения. Выйти не благодаря, а вопреки времени, вопреки всему, что десятилетиями вдалбливалось в головы не просто о Гончарове, Островском, Достоевском, Гоголе, а о самой России, о ее исторических судьбах, ее духовном наследстве. Как могло случиться, что в этих книгах не было ни «обломовщины», ни «темного царства», ни «тюрьмы народов», ни всех других догм, под которые подгонялась история и культура России. Кто мог позволить?

В том-то и дело, что никто! Это были именно те книги, которые выходили без всякого на то позволения и соизволения, которые в те годы можно было написать и издать только на свой страх и риск оказаться раздавленным, растоптанным, расстрелянным в упор всеми влиятельнейшими органами печати: от «Литературной газеты» и «Вопросов литературы» до «Правды» и «Коммуниста», подписывавшими окончательный приговор, обжалованию не подлежавший.

Подобная критика потому и была «доносительной», что она не ограничивалась чисто литературной полемикой, а была рассчитана именно на последующее принятие административных мер.

Вспомним, что произошло в 1982 году, когда в журнале «Волга» появилась статья Михаила Лобанова «Освобождение», какие обвинения предъявлялись ему. «Освобождение»... от чего?» — так называлась статья П. Николаева («Литературная газета», 1983, № 1), в названии которой также звучало политическое обвинение. М. Лобанов поставил под сомнение историко-художественную концепцию «Поднятой целины», М. Лобанов посмел «поиронизировать по поводу питерского рабочего в станице», М. Лобанов усомнился в насильственной коллективизации... Такого отступления от «Краткого курса» ему не мог простить П. Николаев, изрекавший: «Коллективизация в сущности своей была необходимым историческим актом революционной перестройки крестьянского сознания».

Это была, что называется, первая ласточка. За ней последовали и остальные. В. Оскоцкий в статье «Литературные игрища, или Тотальный нигилизм» («Литературная Россия», 1983, № 4) требовал уже призвать к ответственности не только автора «Освобождения», но и журнал «Волга». Далее все развивалось, как по сценарию. Оргвыводы последовали незамедлительно.

Главный редактор «Волги» был снят с работы, сам же Михаил Лобанов на несколько лет оказался вне литературы, ни один редактор не осмеливался публиковать его.

Обо всем этом можно было бы, конечно, и не вспоминать, если бы «доносительная критика», как и все другие виды доносов, осталась в прошлом. Так ведь жива же, целехонька она и теперь. Более того, готова служить перестройке, готова клеймить и разоблачать ее «врагов».

У перестройки уже появились свои «неистовые ревнители», свои вышинские, требующие чрезвычайных мер.

Еще немного, и механизм давления начнет действовать. Не обязательно физического уничтожения. Террор — явление многоликое и многозначное. Он может быть как «правым», так и «левым», но действия «либеральной жандармерии», о которой говорил еще Лесков, отличаются лишь по методам, а не по сути.

И такая «либеральная жандармерия» уже вовсю действует на страницах нашей печати. Быть может, Закон о печати как раз и послужит юридической защитой от произвола любой «жандармерии», заставит отвечать за свои слова, если не перед совестью, то хотя бы перед законом. Но «доносительная критика» при этом все равно не будет подпадать под действие Закона о печати, поскольку она полностью относится к понятиям нравственным.

Закон о печати может обеспечить реальные гарантии свободы слова, хоть как-то отрегулировать правила многостороннего движения, чтобы мы в суматохе попросту не передавили друг друга. Культура спора, культура дискуссий необходима.

А для этого не помешало бы вернуться к самим истокам «перелома русской мысли», с которого начинается историческое противостояние западников и славянофилов. Тогда, в 1841 году, «западник» Белинский встретил известие о рождении славянофильского журнала «Москвитянин» такими словами: «Не беремся пророчить о судьбе нового издания, но смело можем поручиться, что он есть предприятие честное, добросовестное, благонамеренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будет своя мысль, свое мнение, с которым можно будет соглашаться и не соглашаться, но которых нельзя будет не уважать, — против которых можно будет спорить, но с которыми нельзя будет браниться».

Все это Белинский говорил о журнале своих литературных оппонентов — славянофилов, определяя уровень всего последующего исторического спора, который, по сути, продолжается и поныне. Только в иных исторических условиях и, увы, на ином уровне. Герцен представлял эти два полюса русской

культуры в образе двуликого Януса, у которого все-таки «сердце билось одно». Это единство западников и славянофилов он видел в чувстве «безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума».

Назовите мне хотя бы одного современного «западника», который отличался бы такой же безграничной любовью к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. Поэтому, видимо, и появилась необходимость в новых определениях: «левые» и «правые», «прогрессисты» и «консерваторы», «патриоты» и «интернационалисты». «Одни, — отмечает А. Анастасьев, — с огромной силой нажимают на корневое, почвенное начало культуры, другим близок ее всечеловеческий, космический пафос». И такое противопоставление уже заведомо исключает единое сердце, есть лишь разные, несоизмеримые величины.

Не отличаются новизной и взгляды столь модного ныне историка Юрия Афанасьева, утверждающего, что нет и никогда не было никакой такой «загадки» России, ее «особой стати», что мерить ее нужно только «общим аршином», а для этого необходимо, прежде всего, отказаться от патриотизма, который всегда был лишь формой холуйства перед властями. Отказаться от представлений о так называемых добровольных присоединениях к России. Признать, что Сталин и сталинизм — это порождение великодержавного шовинизма и русской истории, начиная с Ивана Грозного и Петра Первого. Только исходя из этой «правды истории» можно создать подлинную историю России. Все остальное — полуправда или ложь...

Подобные взгляды, как и любые другие, имеют право на существование. Тем более, что они знакомы нам не только по рассуждениям героев романа «Бесы» Достоевского, но и по высказываниям Троцкого, по стихам Джека Алтаузена. Идеи исторического нигилизма обладают определенной притягательной силой, в них всегда есть соблазн «запретного плода». Сейчас мы вкушаем эти былые «запретные плоды», не замечая в них заключенного смертоносного яда. А попробуй заметь, попробуй-ка возрази тому же историку Афанасьеву, тут же попадешь в число сталинистов, шовинистов, националистов, врагов перестройки, противников гласности. Вот и молчим, из страха попасть в «черные списки демократии», позволяем сближать сталинизм и патриотизм, проводить между ними едва ли не знак равенства.

Да, было однажды такое в истории: обратился Сталин к патриотическим чувствам русского народа, произнес забытое «братья и сестры», возродил гвардию, ввел золотые погоны, ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого... Но неужели не ясно, что сделал он это именно потому, что другого выхода у него не было. Только патриотизм мог спасти (и может спасти!) Отечество. Сталинизм к этому не имеет никакого отношения. Да и до каких же пор мы будем отравлять трупным ядом сталинизма и себя и русскую историю? Быть может, хватит, пора и меру знать?

Где же предел страданиям нашим? На долю какого народа и когда в истории выпадало столько испытаний за неполное столетие. Кто был среди миллионов павших в гражданскую? Кто опухал от голода в поволжских, донских, ставропольских, кубанских станицах? Кто потерял двадцать миллионов в Отечественную? Чья земля превратилась в Нечерноземную зону (слово-то какое чудовищное: как нечисть, нежить, небыль, да еще и з о н а)? Чьи восемьсот тысяч деревенских домов опустели уже в наши дни? Чьи дети погибали в Афганистане?..

Конечно же, не одни русские погибали. Но легче ли от этого русским? Русские вообще никогда не выделялись, не противопоставляли себя другим, никогда не жили за счет «колоний», не процветали в то время, когда с голоду умирали калмыцкие дети, когда эстонцы или латыши погибали в сталинских лагерях. По отношению к жертвам Сталин был последовательным «интернационалистом», здесь он достиг полного «слияния наций», и мы, живые, до сих пор ощущаем на себе последствия этого сталинского (а затем, в идеологии, сусловского) «интернационализма». Но причем здесь опять же русские, которые точно так же, как и другие, пытаются обратиться к исторической памяти народа, чтобы обрести себя, чтобы найти смысл, как после батыевых нашествий, для возрождения, для государственного строительства. На нигилизме, на отрицании ничего не построишь.

Недавно П. Николаев, выступая по телевидению, признался, что не может он видеть памятника Юрию Долгорукому. За что, за какие заслуги ему памятник? За то, что руки свои длинные запускал куда не следовало, присоединял окраины. Вот если бы вместо этого памятника и вместо памятника Суворову, который войны вел лишь захватнические, Пугачева на казнь вез, поставить памятник неизвестному русскому мужичку с топориком. Ведь есть же памятник неизвестному солдату, почему не может быть памятника неизвестному основателю Москвы, безымянному мужичку...

Любой человек, а тем более член-корреспондент АН СССР, имеет право на подобного рода размышления. Но нетрудно представить себе, как отнеслись бы литовцы к своему членкору, историку и теоретику литературы, если бы он по литовскому телевидению сказал нечто подобное о башне «завоевателя» Гедиминаса. Как отнеслись бы грузины, если бы их ученый отнесся уничижительно к памятнику Давиду Строителю.

Так что же с нами происходит?! Стоит ли тогда удивляться экстремизму «Памяти». Все это — следствие, а не причина. Впрочем, «Память» историку Афанасьеву не страшна. Она даже нужна ему. Без нее нечем было бы запугивать. Кто же без «Памяти» поверит в шовинизм русского народа? А теперь верят, еще как верят. Послушаешь «голоса» и диву даешься, как примитивно, но безошибочно, срабатывает это пропагандистское «клише» об опасности «Памяти» для перестройки, для демократии, для гласности и даже для всего мира. Но точно так же, с помощью таких же примитивов, мы запугивали себя и других Америкой. Сейчас наконец-то признали, что «образ врага» пора разрушать. По отношению к Америке, к западному миру, действительно, разрушаем, но по отношению к самим себе, к своему братскому сообществу, наоборот, — не создаем ли?!

Запомнился мне один разговор с американским профессором, давним знакомым. Он преподает русскую литературу в университете в Нью-Мехико, переводит современную, одним словом, вполне в курсе дела. Особенно по части «врагов перестройки» — все по полочкам разложено. Не выдержал я и спросил: как же так получается, что у вас, в том же конгрессе, есть свои либералы, свои консерваторы и даже «ястребы» — и все это следствие демократии, а у нас, выходит, все должно быть по одному ранжиру. Где логика?

Если и есть логика в подобного рода схемах, которые нам усиленно навязываются средствами массовой информации, то она противоречит именно демократии. Демократия сейчас нуждается в защите от своих же «защитников», которые могут принести ей не меньший вред, чем «неистовые ревнители» — литературе.

Быть может, Закон о печати и сможет хоть как-то диалектически оградить законное право «патриотов» на безграничную любовь к своему социалистическому Отечеству, на национальное достоинство, которое нельзя попирать, унижать никому (будь то достоинство русского, украинца, грузина, татарина или еврея). Хотя законодательные ограничения зачастую приводят лишь к обратным результатам: «запретный плод» сладок. Свобода слова — это и есть свобода высказывания любых взглядов. Кроме, конечно, человеконенавистнических и расистских. Но оскорбление национального достоинства — разве это не проявление крайних отклонений. И разве в самом нарочитом, почти надсадном и постоянном противопоставлении интернационального и национального не заложено разделение на высшее и низшее?! Что же тогда удивляться вспышкам национализма — это следствие, это защитная реакция, инстинкт самосохранения, нарушение диалектики жизни, за которую так твердо стоял Ленин...

Утопающий хватается за соломинку. Так и мы судорожно хватаемся то за арендный подряд, то за кооперацию, то за законы. Не спасут нас ни эти, ни другие «соломинки», пока мы не перестанем хвататься за них. Никакие, даже самые совершенные законы, не помогут нам до тех пор, пока не будут восстановлены естественные законы совести. Мы сейчас больны прежде всего изнутри, наша совесть поражена. Отсюда и все наши остальные беды...

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

ЗАСТАРЕЛЫЕ МИФЫ И ПЕЧАЛЬНЫЕ БУДНИ



ФОТО Н. КОЧНЕВА

Вячеслав МАРЧЕНКО

Родипся на древнем пути «из варяг в греки» — в городе Старая Русса, иа Новгородчине. Собствеиио, это и определило его судьбу: иеполных пятиадцати лет ои уехал в Кроиштадт и поступил, как тогда говорили, «в юнги». А потом была Балтика (это продолжение древнего пути), и были Баренцево, Белое и Карское моря (а это уже продолжение самой Новгородчины), и было Военио-морское училище им. М. В. Фруизе, служба иа крейсерах. Тогда же начал писать. И по совету и рекомеидации М. М. Пришвина поступил в Литературный ииститут им. М. Горького. Написал и издал за это время более 20 книг и среди иих романы «Северá», «Ветры иизких широт», «Страиицы памяти»; повести «Леиты-бантики», «Год без весны», «Последний иынешний деиечек», «Тверской бульвар» и другие; многомного рассказов и очерков. Председатель ревизиоиной комиссии Московской писательской оргаиизации, заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии СП СССР.

Наша печать в последние годы стала самоуверенной, обретя, наконец-то, «лица не общее выраженье». Но, к сожалению, у этого блага оказалась и своя оборотная сторона, когда факты сплошь и рядом стали излагаться весьма вольно, а мнения, как правило, начисто лишены аргументации.

«Комсомольская правда» — в первых рядах, за нею АПН, в лице своего обозревателя Петросяна, а теперь вот еще «Аргументы и факты» в логической последовательности поведали изумленному читателю, что среди наших писателей, наиболее популярных, скажем так, завелись «миллионеры», к которым следовало бы, мягко говоря, применить кое-какие санкции, а все прочие (непопулярные, видимо) тоже живут, понимаете ли, в особняках и купаются, знаете ли, в золоте. Спасибо, как говорится, за откровение, только что-то я до сих пор не ощущал на себе этой манны небесной.

По наивности своей, до этих публикаций мне все думалось, что у нас в государстве существует тайна вклада, и, следовательно, никому из нас не позволено просто так вот заглянуть через плечо впередистоящего и полюбопытствовать (для интереса, разумеется), сколько и чего может находиться у того на текущем счету. А если это так, — а я верю, что это именно так, — то позволительно все-таки поразмышлять, откуда же появились на свет божий эти миллионы. Тут, по-моему, кое-кому, тем же «Аргументам и фактам», которых особенно обеспокоило предполагаемое повышение гонорарных ставок, стало словно бы не по себе, они даже задались вопросом: а, собственно, зачем писателям деньги, если их у них и так куры не клюют? Да полно вам, товарищи, успокойте свое растревоженное воображение, ведь миллионные издательские тиражи ни при какой погоде не переводятся в нашем государстве в писательские рубли, а если и переводятся, то совсем по особому счету. Скажем, «Роман-газета», тиражи которой в последнее время стали баснословными, стоит целковик, и если перемножить одно (целковик) на другое (тиражи), то на самом деле получатся миллионы, только писателю, чье произведение опубликовано в номере, от этого ни жарко, ни холодно — и в лучшем случае он получит восемь тысяч, менее одной десятой процента, а все прочее поступит в государственную казну, за исключением малой толики, которая останется в издательстве или будет перечислена на счет Литературного фонда. Никакая другая индивидуальная деятельность у нас не приносит государству такой выгоды, как писательская, но если индивидуалы всех прочих мастей кладут свою выручку в карман, заплатив властям за патент, то писатели при этом практически остаются нищими, но об этом чуть позже.

Я только что вернулся из книжной лавки, в которой приобрел мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», изданные стотысячным тиражом и стоимостью два рубля. Общий доход от нее (за вычетом гонорара автору — восемь тысяч, типографских расходов, включая стоимость бумаги — две тысячи, отчисления в торговлю — пятьдесят тысяч) составил сто сорок тысяч. С автора при этом удержали еще подоходный налог примерно чуть больше тысячи, оставив на руках у Ирины Одоевцевой что-то около семи тысяч рубликов: живи, радуйся. Не правда ли — почти подпольный миллионер Корейко. Я мог бы продолжить эти расчеты, взяв для примера книги Ч. Айтматова, М. Алексеева, Ю. Бондарева, Е. Евтушенко (популярных авторов) — господи, да любого другого, но в любом случае результат получился бы один и тот же: общество и государство берут куда больше, чем дают писателям. А при существующей инфляции, — а она, по оценкам некоторых экономистов, достигает двух рублей в месяц, — прибавка к писательским гонорарам, пожалуй, явится тем самым дождем, который испарится, не долетев до земли. К тому же — я особо обращаю на это внимание — увеличение гонорарных ставок пойдет не за счет государственных средств — на это будут израсходованы накопления Союза писателей, которые он создал собственной издательской деятельностью («Литературная газета», «Советский писатель»), и общественная казна не пострадает ни на полушку. Я не судейский дознаватель, но, право, очень хотелось бы понять, кто науськивает и кому выгодно втаптывать в грязь труд творца, который во всем мире почитается высоко и огражден законами. Я не говорю о литературной критике, литературная критика — это почти что от бога, если она обеспокоенная, объективная, пусть резкая и угловатая, но обязательно — доброжелательная.

Когда нет фактов, их придумывают — это понятно, а когда они есть? По нашему заданию Отдел изучения общественного мнения Научно-исследовательского центра Высшей комсомольской школы (название, каюсь, длинноватое, но такое уж они придумали себе) провел социологическое исследование в Московской писательской организации, опросив *тысячу триста шестнадцать человек из двух тысяч писателей*, проживающих в Москве и в Московской области. Исследователи раньше не имели дела с творческой интеллигенцией и споткнулись, что называется, на первой же кочке: мужчины в Московской писательской организации составили семьдесят шесть процентов, а женщины — только двадцать четыре.

— Простите, — вежливо поинтересовались социологи у меня, — не попахивает ли это соотношение некоей дискриминацией женщин в вашем творческом Союзе?

— Милые вы мои, — сказал я им. — Писательство — это прежде всего мужской труд. Для того, чтобы написать средненький роман, надо отдать ему как минимум года два, лишив себя при этом праздников и выходных дней, работая по двенадцать — четырнадцать часов в сутки. Может ли женщина, а если она к тому же еще и мать, выдержать такое напряжение? Писательство — это каторга, правда, иногда благодарная, чаще — безрадостная. Поэтому самая распространенная болезнь среди писателей, можно сказать — профессиональная — инфаркт миокарда и инсульт...

Долгие годы я дружил с Владимиром Чивилихиным, человеком неистовым, настойчивым в достижении своей цели, а цель со студенческой скамьи он обозначил одну — всей силой своего таланта способствовать сохранению родной природы, этого индикатора духовного здоровья и физической силы нации. В то время еще не было мощного экологического общественного движения и писатели вроде Леонида Леонова, Сергея Залыгина, Владимира Чивилихина представляли собою одиноких путников, которые знали, куда идти, но не ведали, добредут ли когда-то туда, в тот мир гармонии человека и природы. Чивилихин писал тогда и печатал очерки «О чем шумят русские леса», «Голубое око Сибири» (это о Байкале), взывая к нашей гражданской совести, и когда почувствовал, что совесть наша почила непробудно, ударил в набат: «Земля в беде» и свалился с инфарктом миокарда. Отошел кое-как, поднялся и вместо того, чтобы оправиться как следует,

тут же сел за свою «Память». Успел написать первый том — получил инсульт. Многие дни провалялся в беспамятстве, ожил. Врачи настоятельно советовали перейти на инвалидность и пожить тихо-мирно, никого не беспокоя и не беспокоясь прежде всего самому. После инсульта Чивилихин плохо слышал, ходил с палочкой, но писал, писал, жалуясь порой мне на сильные головные боли, и снова писал, успев завершить и второй том «Памяти». Последовал новый инфаркт, а за ним вечное успокоение на Троекуровском кладбище, считавшемся с некоторых пор филиалом Новодевичьего. Чиновники наши даже не уловили всей нелепости этого филиала.

Могут сказать мне, что судьба Чивилихина исключительная. В чем-то безусловно, но для писателей весьма типичная. Я мог бы назвать десятки своих товарищей, которые носят на сердце по одному рубцу, по два, третий, как правило, бывает смертельным. Тем не менее я все-таки назову удмурта Геннадия Красильникова, русского Николая Анцифирова, лакца Бодави Рамазанова, башкира Раиса Низамова — это только мои сокурсники по Литературному институту, которых инфаркт преждевременно свел в могилу, не дав им дожить даже до пятидесяти.

И при всем при том труд писателя ничем и никем не гарантирован. Старики наши (писатели, разумеется) говаривали, что в старом авторском праве была статья, которая давала кое-какие гарантии на случай творческой неудачи, а неудача для писателя — это несостоявшаяся книга. А ведь только она одна, голубушка, дает писателю прожиточный минимум. Писатель ведь не обеспечен никакой зарплатой, единственное пособие на творческий период в размере двухсот рублей может быть получено им не чаще одного раза в год, практически это бывает куда реже. А дальше что, спросил бы я, — идти с протянутой рукой? Вот и приспела пора обратиться к сухому языку цифр.

Как показало социологическое исследование, условия труда московских писателей весьма сложные. Чтобы как-то свести концы с концами, двадцать три процента из них вынуждены преимущественно выполнять работу, не соответствующую творческим планам. Это то же самое, как если бы ученого отправили на лесоповал (правда, такое времечко было у нас), а летчика — таскать на себе кули с солью. Иначе говоря, мы по-прежнему нерационально используем интеллектуальный, творческий потенциал, хотя и провозглашаем на всех перекрестках, что талант — это достояние народное. Так и напрашивается вопрос: а народное — это что значит, ничейное?

Только шестьдесят шесть процентов московских писателей могут регулярно работать над своими произведениями. Особенно мала эта доля среди тех писателей, кому менее сорока лет — всего пятьдесят два процента. В самом расцвете сил хлеб свой насущный писатель вынужден зарабатывать как бы отхожим промыслом: сорок четыре процента загружены ответами на редакционные письма, тридцать один процент — рецензированием издательских рукописей, двадцать один процент — редактированием чужих произведений, двадцать шесть процентов подрабатывают себе на пропитание в Бюро пропаганды художественной литературы. Таким образом, большая загруженность писателей наряду с основным видом их деятельности («деятели литературы, создавайте произведения, достойные нашей социалистической эпохи») вносит в ритм их жизни высокую степень напряженности. Поэтому не удивительно, что двадцать два процента работают вечерами, четырнадцать процентов — ночью, пятьдесят восемь процентов — в субботу и воскресенье. С возрастом доля работающих по субботам и по воскресеньям, а также по ночам заметно сокращается. И это понятно: силы-то на исходе, недолго и... Каюсь, сказалось грубовато, но жизнь-то, к сожалению, еще грубее.

Вот и подошел я к золотой купели, в которой, по убеждению «Аргументов и фактов», пребывают в неге писатели. А между тем на сегодняшний день только семнадцать процентов из них удовлетворены гонорарной политикой. Особенно резкой критике подвергают ее так называемые «молодые», иначе говоря, те, кому сейчас менее сорока лет: их и издают реже и платят за печатный лист или за поэтическую строку меньше. На моей памяти однажды уже повышались гонорарные ставки — было это лет пятнадцать назад, когда жизнь была куда как дешевле, тогда в прессе тоже много говорили о заботе, о дальновидной политике и еще о многом другом, а Минфин взял да и забыл подбросить издательствам деньжонок, дескать, понимайте это увеличение как знаете, есть наличные — так платите, а нет, то руководствуйтесь старыми ставками, и вся та гонорарная политика обернулась пропагандистским блефом, о котором наша стозвучная пресса потихоньку забыла. Не повторится ли история и теперь, и не бухнули ли мы в колокола, не заглянув в святцы — это у нас случается, тем более, говорят, что Минфин все еще не спешит раскошеливаться, хотя и деньжата вроде бы не его, а, как уже говорилось, будут сняты с депозитивов «Советского писателя».

Проблема охраны авторского права затрагивает примерно треть литераторов: многими издательствами творческие заявки попросту не рассматриваются, а если и рассматриваются, то уж договоры под них во всяком случае не заключаются, рукописи валяются по многу лет без движения. Наверное, следовало бы провести несколько показательных процессов, чтобы издатели, наконец-то, научились уважать авторское право, которое к тому же такое куцее и составлено таким образом, что всячески охраняет издателя, превратясь тем самым в авторское бесправие. Отсюда понятно, почему только девять процентов литераторов удовлетворены деятельностью Всесоюзного агентства по авторским правам — ВААПом. Более того, все наши издательские отношения словно бы перевернуты с ног на голову и представляют собою, мягко говоря, планирование неудовольствий, обид и прямых оскорбительных деяний...

Даже наш «Советский писатель», казалось бы, плоть от плоти писательское издательство, практически ничего не делает, чтобы снять напряженность. На самом деле, что значит планирование двухсот «новинок», а если их в издательстве на сегодняшний день скопилось двести пятьдесят, триста, триста пятьдесят? Выстраивать в очередь? Но ведь это же чистейшей воды абсурд. На наш взгляд, планирование по крайней мере в «Советском писателе» должно претерпеть коренное изменение. Планировать надо на полгода и столько книг, сколько в издательстве на день планирование собралось готовых рукописей. Кроме того, необходимо оставлять в запасе еще и несколько резервных позиций. Только таким образом можно снять напряженность с изданием книг современных авторов, и писательские «новинки» на самом деле останутся новинками.

Издательская практика и гонорарная политика — это, по сути, основа основ всей писательской жизни, благополучие его самого и благополучие его семьи. Как правило, только у тридцати девяти процентов московских писателей супруги работают, поэтому нагрузка по материальному обеспечению семьи полностью ложится на одного человека. А между тем среднемесячный доход московских писателей исчисляется примерно двумястами девяноста рублями, однако эта цифра скрывает существенное различие в доходах. Так, среднемесячный доход семнадцати процентов писателей менее ста пятидесяти рублей. Если учесть, что среднемесячный доход трудящихся по стране составляет двести двадцать рублей, то можно смело говорить о том, что у сорока трех процентов московских писателей среднемесячный доход ниже среднего. В то же время двадцать три процента писателей имеют среднемесячный доход четыреста рублей, а у десяти процентов — выше пятисот.

Средний доход на одного члена семьи писателя — сто пятьдесят рублей. А вот более подробная раскладка: у двадцати двух процентов — менее ста рублей, а у других двадцати двух процентов — более двухсот. У нас в стране нет официального индекса бедности, считается (кем? и почему? неизвестно), что все живут в полном достатке, на то он и «развитой» социализм, который до недавнего времени осенял нас своей благодатной десницей. А негласно наши социологи считают все-таки чертой бедности сто рублей. Если это так, — а при нашей дороговизне нет причин сомневаться в этом, — то каждый пятый писатель находится на грани бедности. Если инфляция не остановится и цены не прекратят свой стремительный взлет, то никакая прибавка к гонорарам не спасет: все большее и большее число писателей покатятся к этой роковой черте.

И все же я не стал бы сгущать краски: три пятых москов-

ских писателей имеют благополучие выше среднего. Это значит, что каждый десятый может, по нашим стандартам, ни в чем себе не отказывать, еще каждый пятый без затруднения приобретает товары длительного пользования, если таковые, правда, оказываются на прилавке или их удается достать, как теперь принято говорить, по случаю. Правда, семь процентов наших товарищей живут в долг, перебиваясь, как говаривали в старину, с хлеба на квас. Это в Москве, где и отрецензировать можно, получив потом три—пять рублей за печатный лист, и редактурку перехватить, не часто, но — случается, а как же жить в провинции, где нет своих издательств, а само отделение Союза писателей прозябает на скуднейшем областном бюджете? А если писатель ершистый и его точка зрения не согласуется с точкой зрения властьпредержащих, вот и становится он перекати-поле и катится по Руси Великой, пока не зацепится за стольный град, в коем к писателям еще мираолят. Когда-то Шукшина спросили:

— Вася, зачем ты убиваешься, не даешь себе роздыху?

И Василий Макарович ответил:

— Я хочу быть независимым.

Многие писатели стремятся стать независимыми, чтобы говорить, как того требуют перестройка и гласность, правду и только ее родименькую — надоело ведь лгать, изворачиваться, громоздить одну нелепость на другую, — но, к сожалению, большинству из них суждено остаться поденщиками. Мне могут возразить: «А как же идеалы? А как же бескорыстное служение народу, обществу? Неужели все это можно разменять на медные пятаки». Конечно же, не меняют писатели свою совесть и не предают свои идеалы, но ведь сказать-то всегда хочется и громче, и чище. Когда-то говорили, что писатель — глас общества, это, безусловно, так, но, значит, и общество должно позаботиться, чтобы глас этот не застревал в горле. «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне», — сказал когда-то наш великий поэт. Но если бы он не становился на горло песне, то, может, сталинщина-то и не расцвела бы у нас так, что мы вытравляем ее из себя и вытравить никак не можем.

Надо ли поэтому удивляться, что неудовлетворенность московских писателей принципами присуждения премий особенно велика. В целом две трети литераторов не устраивает действующий сегодня «механизм» присуждения премий, и только один из десяти считает его справедливым. Возможно, этот десятый и есть тот самый «огосударствленный» знаком качества писатель или возжелавший «огосударствиться», чтобы потом уже войти в элиту, к которой, как известно, и власти подобрее, и законы помягче.

Основные недостатки, присущие ныне действующему принципу «распределения» премий (я не оговорился — многие опрошенные слово «присуждение» поменяли на слово «распределение»), по мнению большинства московских писателей, — отсутствие гласности, необходимого демократизма в подборе соискателей, проявление групповых интересов, которые весьма умело подменяют критерии истинные критериями мнимыми. Сидели, помнится, мы с Михаилом Годенко, поэтом и прозаиком, а в прошлом балтийцем, в верхнем холле нашего Дома литераторов и к нам подошел Михаил Коршунов, весьма деятельный и преуспевающий писатель. Годенко и спроси у него:

— Миш, а ты когда получишь премию Крупской?

— Погоди, дай посчитаю, — сказал, улыбаясь, Коршунов. — Михалков у нас получил, Барто получила, Алексин тоже... Стало быть, моя очередь по счету семьдесят шестая...

— Хорошо вам, — сказал Годенко.

По мнению многих писателей — и тех, кто стоит в очереди, и тех, кого в оную еще не поставили, — премии (Ленинские, Государственные, ведомственные) вообще следовало бы упразднить, оставив премии только чисто литературные, и быть их должно много, и они не должны давать при присуждении житейских благ: получение новых квартир, дач, приобретение машин, мебельных гарнитуров. Иначе говоря, литературная премия — не талон в распределитель ширпотреба, а качественная оценка собратьями по перу конкретного литературного произведения. Да простят меня лауреаты премий, резво выступающие сейчас против сталинщины, — «огосударствование» писателей само по себе является худшим порождением сталинщины, когда общество как бы сливалось с государством, а закон, пусть даже самый несовершенный и примитивный, ставился выше нравственности.

Талант — это от бога, говаривали в старину, а все прочее — от людей, но вот и получается, что когда от бога, то вроде бы все понятно, а как только от людей — тут и начинаются трудности. Казалось бы, чего уж проще: уяснить для себя, что личная библиотека писателя, письменный стол, пишущая машинка на нем (о дисплее речь уже не ведется), а еще лучше все-таки два письменных стола, потому что порой работа идет сразу над двумя вещами, скажем, за одним столом пишется роман, а на другом копятся материалы для статьи или для очерка, все это заключенное в четыре стены и составляет в конечном счете творческую мастерскую. Жилье для писателя — это не просто спальное место для его семьи и для него самого, где он отдыхает от трудов праведных, это прежде всего его рабочее место со всеми вытекающими из этого следствиями и последствиями. В недавнее «застойное» время уже было найдено понимание между Моссоветом и Московской писательской организацией, когда депутаты уже не чинили препятствий и плюсовали писателю к девяти санитарным метрам еще двадцать под творческую мастерскую. Но кончились «застойные» времена, а вместе с тем нарушилось и понимание, даже послышались недовольные голоса:

— А чем писатели лучше рабочих? Тоже мне... Нам своих, рабочих расселять некуда.

Странное все-таки деление на своих, рабочих, и чужих, писателей, которые в недавнем прошлом сами были рабочими, и крестьянами, и учителями, и моряками, а доказывать тем не менее приходится, чаще всего безуспешно, что писатель, подобно любому другому гражданину, имеет право на рабочее место. Творческая мастерская писателя — это его, если хотите, инфраструктура, без которой он не может в полной мере раскрыть свой талант на благо самого же общества, тем более, что доходы от издания книг таковы, что государству ничего не стоит немного потратиться на писателя. Даже и при этих затратах писатель ровным счетом ничего не будет стоить обществу. Он — самофинансирующееся и самоокупающееся духовное приложение, которое едва ли не каждый волен пинать, как ему только заблагорассудится. Правда, если писатель сумеет доказать Моссовету, что он принимает у себя закордонных гостей, то ему и творческую мастерскую выделят и еще некоторое количество метров прирежут. Тут на рабочих уже никто ссылаться не станет — потерпят, дескать...

На сегодняшний день две трети московских писателей или даже чуть больше живут в отдельных квартирах и половина из них — «счастливчики»: у них имеется отдельный кабинет для писания своих книг. Еще каждый четвертый от общего числа членов СП, проживающих в Москве и в области, обладают своим письменным столом, а вот каждый третий не имеет таковото, арендуя для работы у семьи кухонный или обеденный — это уж кому как повезет. Нетрудно представить себе такую бытовую картинку:

— Петя, кончай свою писанину. Семье обедать пора.

А Петя, между тем, единственный кормилец семьи и то, что он пишет, явится потом ее материальным обеспечением.

— Да у меня фраза тут никак не ложится.

— Потом ляжет, а то Маше пора в музыкальную школу идти.

Наконец, об «особняках»: да, двенадцать процентов московских писателей имеют дачу на правах личной собственности, еще семнадцать процентов, разумеется, состоят в дачном кооперативе, у большинства же ни дач нет, ни даже видов на них, в основном пробавляются домами творчества.

И тут пора опять отложить на время цифры в сторону и обратиться к положению дел в этих самых домах творчества, которые, к сожалению, работают по образцу профсоюзных. Кто принял такой статус, теперь уже не сыскать — одних уж нет, — как сказал поэт, — а те далече, — но тот явно или ничего не понимал в творчестве, или не хотел понимать. Пора, наконец, признать очевидным, что член профсоюза едет в дом отдыха на 24 дня отдыхать, а писатель на тот же срок — работать. Кажется, различия искать не приходится, к тому же поэмы, романы, и монографии, и пьесы за 24 дня «не работаются». Это тоже очевидный нонсенс.

Начинаешь анализировать возрастной состав Московской писательской организации и невольно ужасаешься: молодежь до тридцати лет среди нас составляет только три десятых процента. Невелика доля и сорокалетних — всего четыре

процента. Средний же возраст членов Союза писателей в Москве на сегодняшний день — шестьдесят лет. Любопытный вывод делает группа социологического исследования:

«С одной стороны, уместно предположить, что столь «взрослый» состав союза воплощает в себе богатый жизненный опыт, несомненно, являющийся важной предпосылкой для более глубокого, зрелого и художественного отображения социальной действительности, психологических образов и межличностных отношений в процессе литературного творчества. С другой — возникает вопрос: хватит ли (и насколько) в этом возрасте энергии для активной ТВОРЧЕСКОЙ деятельности, в особенности в условиях резкого возрастания общественной жизни, переоценки политических, идеологических и исторических ценностей?».

Вопрос, конечно, и своевременный и справедливый: организация нуждается в решительном омоложении. Легко так сказать, но как это сделать, если средний возраст абитуриентов составляет все те же полста лет и не является ли это зеркальным отображением демографического положения самой Москвы-матушки? Не постарела ли она на наших глазах, селясь в «хрущобах», век доживать в коих вполне можно, а вот воспроизводиться весьма и весьма сложно. И не потому ли среди абитуриентов коренных москвичей все меньше, их стройные ряды рекрутируются в основном москвичами приезжими, да и самому абитуриенту трудно помолодеть, если первую книжку он едва-едва ухитряется издать после тридцати лет, а на вторую еще уходит десяток, а Московская писательская организация практически ничем помочь своим будущим сочленам не может — у нее нет редакционно-издательской базы. Любят при этом ссылаться на то, что в Москве полно издательств и журналов, но одни издательства и журналы волнуют судьбы Союза, других — судьбы Российской республики, а кто озаботится Москвою, равной или превосходящей по численности многие европейские государства? Конечно, проще всего ответить: все, но все — значит, никто, и не досужие это рассуждения, а печальная реальность.

Невольно напрашивается однозначный вывод: никакая механическая перестройка организационных писательских структур не принесет желаемых результатов, пока не будет обеспечена полная гласность и плюрализм мнений для всех и для каждого писателя — без исключения. И тут же поторапливается другой вывод: не засиделась ли Московская писательская организация в «приживалках» у городского бюджета, не пора ли всерьез подумать о самофинансировании и самоокупаемости, тем более, что книги московских писателей, которых они пишут предостаточно, в состоянии выдержать любой хозрасчет? Всего этого можно было бы достигнуть только в том случае, если бы Московская писательская организация обрела издательско-редакционную базу, а это, судя по всему, случится весьма нескоро. Пока нам все только обещают: и Московский Горком КПСС, и союзы писателей РСФСР и СССР, и Госкомиздат СССР... Затянувшиеся обещания.

Еще одна проблема и возможный путь решения писательских забот... Хотя я и рискую прослыть в глазах наших радикалов «антиперестройщиком,», но все же произнесу вслух: а надо ли гнать толстые журналы астрономическими тиражами?! Памятуя, что век у журнала скоротечный, хранить по малогабаритности квартир годовые комплекты негде, поэтому и будут они разодраны, меньшая часть попадет к переплетчикам, большая же — окажется в макулатуре. Не слишком ли большая роскошь при нашей вопиющей бедности? Не лучше ли ограничить тиражи журналов, правда, сделать это демократично, проведя в печати дискуссию, чтобы не было обиженных, а понравившиеся материалы издавать «экспрессом» и большим тиражом: книжки, к счастью, долговечнее журналов.

Но эти заметки, как говорится, на манжетах, а главное видится все-таки в том, что московским писателям уже сейчас необходимо разрешить самим издавать свои книги и прежде всего — альманахи, которые разрядят обстановку в профессиональной среде (сейчас рукописи залеживаются в издательствах до пяти лет) и предоставят площадь для молодых. Предвижу возражение: век у альманахов короткий, словно у бабочки-поденки. А я и возражать не стану: слабые погибнут на корню, сильные выживут, обратясь в новые журналы, но и те, что отомрут, дело свое сделают. В издательской практике все вечно и почти в равной мере — скоротечно.

Казалось бы, дело наше праведное, и препоны ставить нам никто не будет: в стране разрешено все, что не запрещено, а нам никто и никогда не запрещал издавать свои книги, тем более, что и счет в банке у нас есть, и печать имеется, и рукописей скопилось достаточно.

Но, кроме права, действует еще и правило: что положено Юпитеру, то не положено быку, и роль быка в этом случае отводится Московской писательской организации, а Юпитера — о, Юпитера — их величествам, прошу прощения, кооперативам и хозрасчетным группам. Цитирую по «Литературной газете»:

«Кроме того, всем издательствам рекомендовано создавать хозрасчетные группы или посреднические кооперативы для оказания услуг по изданию произведений за счет автора. Таким образом, к 240 издательствам, обладающим правом на издание, но, к сожалению, неохотно этим правом пользующимся, добавятся сотни других издателей, которые, надеюсь, будут более заинтересованны, разворотливы и предприимчивы.»

— Простите, товарищи из Госкомиздата, а почему бы вам не включить в число заинтересованных, разворотливых и предприимчивых Московскую писательскую организацию?

«Что же касается участия кооперативов, им дано право оказывать посреднические услуги издательству при подготовке таких книг в печать, то есть непосредственно участвовать в издательском процессе. ...Госкомиздат выделил даже часть необходимой для этих целей бумаги.»

— Простите, товарищи из Госкомиздата, но почему бы из этой части бумаги совсем уже малую часть не выделить московским писателям, тем более, что сама писательская организация столицы имеет классическую структуру издательства: шесть бюро творческих объединений — шесть редакций, секретариат — главная редакция. Дайте нам право и немного для начала бумаги, а от посредников и кооперативов мы избавимся сами. Не надо перекачивать наши деньги и деньги государства в посреднический карман. Эти деньги нам самим нужны позарез на:

1. Создание и развитие редакционно-издательской базы;
2. Предоставление возможности молодым выйти к массовому читателю;
3. Всей организацией перейти на хозрасчет.

А чтобы писателей не обвиняли в корыстолюбии, расскажу в заключение случай из своей редакторской практики. Работал я тогда в «Современнике», и издавали мы роман Василия Белова «Кануны». Время было «застойное», роман шел туго, сперва вырезали все «московские» линии, потом последовало еще почти сорок больших и малых замечаний по тексту. Белов останавливался тогда в «Москве», целый день мы с ним ругались, он требовал, чтобы каждое изъятие я подписал, я тоже чего-то от него требовал, наконец, к вечеру кое-как мы свели концы с концами, превратив роман в хронику. Мы вышли на улицу, когда уже ссумерилось, стоял теплый ласковый сентябрьский вечер, было много нарядных людей. К площади Маяковского мы поднимались молча, и вдруг Белов сказал:

— А помнишь, ты не хотел печатать в «Нашем современнике» мою пьесу «Над светлой водой»? А она меня года два кормила.

В «Нашем современнике» я заведовал отделом прозы и не был против печатанья той его пьесы. Против нее возражал другой член редколлегии, но тут, видимо, как это часто случается в нашей жизни, сработал «испорченный» телефон. Я не стал оправдываться, только кисло спросил:

— И сколько же она тебе давала?

— Сто — сто двадцать в месяц. А в иной — и сто пятьдесят... Она не дала мне с голоду умереть.

А ведь Василий Белов — один из ведущих наших писателей, мастер прозы, которого иногда похваливают, а теперь вот чаще бранят и пытаются сделать это побольнее, так о каком же сребролюбии можно вести речь?!

Писатель, если он только честен и независим, — это совесть народная, так не грех иногда и народу позаботиться о своей совести.

ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ — ХОЗРАСЧЕТ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ



ФОТО А. ТАГНЫ-РЯДНЬ

Михаил НЕНАШЕВ

НЕНАШЕВ Михаил Федорович закончил Магнитогорский государственный педагогический институт. По профессии — историк. Долгое время заведовал кафедрой истории КПСС в Металлургическом институте Магнитогорска. Затем работал в Челябинском облвстном комитете партии, в ЦК КПСС. С апреля 1978 года — главный редактор газеты «Советская Россия», руководит ею до 1986 года. За это время газета стала одной из популярнейших в Советском Союзе. Он — доктор исторических наук, профессор. Его перу принадлежит ряд книг общественно-политической тематики. Последняя — «Газета, читатель, время», вышедшая в 1986 году, посвящена газетно-редакторской практике, влиянию печатного слова на политическую, экономическую и социальную сферы жизни советского общества.
Ненашев М. Ф. возглавляет Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР с февраля 1986 года, является кандидатом в члены ЦК КПСС.

Духовная жизнь людей неотъемлемо связана с книгой: это — аксиома. И хотя сверхмощные современные источники информации и знаний — кино, телевидение, видео — продолжают теснить книгу, к счастью, прогнозы скептиков — будто дни книги сочтены — не оправдались. Ныне она приобрела еще большее значение как углубленный, наиболее квалифицированный и индивидуальный источник духовных знаний и разнообразнейшей информации. Тиражи книг растут в нашей стране и даже там, где чудо-электроника, казалось бы, овладела всем и где телевидение работает иа 36 каналах круглые сутки, ие ослабевает поток печатной продукции.

К чему это я все говорю? Современная цивилизованная промышленно развитая страна должна последовательно и энергично развивать широко разветвленную службу книги, если она ие желает пребывать в хвосте мирового прогресса. В последние годы мы попытались, хотя бы сами для себя, сформулировать это понятие и критически оценить все составные его. Картина оказалась малопривлекательной, несмотря на все долгие увещевания, что «мы самая читающая страна».

Я назову только некоторые аспекты этой проблемы. Мы убедились, что у нас отсутствует научно обоснованное ведение службы книги. Критически оценив это положение, заново создали институт книги как головной в выработке науки о книге и книговедении... Укрепили Всесоюзную книжную палату, дав ей больше прав и возложив на нее высокие духовные обязанности быть научным и методическим центром книги. Создали общественный институт книги с целью обрести новые связи с читателем... Предприняли шаги, чтобы усилить пропаганду самой книги, разработали всесоюзные издательские принципы по выпуску справочной, детской литературы, экспресс-изданий, добиваемся повышения культуры чтения...

И все же пока главные и часто непреодолимые трудности мы встречаем в самом производстве книги, тут наша ахиллесова пята и наши беды...

Не случайно и наш обостренно-критический диалог с читателем носит довольно напряженный характер. Более того, время идет, а напряжение не ослабевает, хотя мы и предпринимаем энергичные меры для улучшения книгоиздательского дела в стране. И не держим это в секрете, понимая, что книга — хлеб насущный и волнует всех — от мала до велика. Потому так часто обращаемся и к печати, и к телевидению, не боимся «ввязываться» в общественные дискуссии, чтобы более четко и внятно разъяснить свою позицию. Стараемся сдержать и собственные эмоции, когда нас больно и порой несправедливо задевают, опять же ради истины, ради улучшения общего дела...

Начну с того, что сохраняется довольно устойчивая иллюзия, будто раньше, в годах пятидесятых — шестидесятых, с книгами было значительно лучше... Скажу откровенно, я и сам не избежал этого радужного восприятия, пока был только читателем, а не издателем... С позиции читателя трудно было представить себе, что книгоиздательская отрасль страдает серьезным недугом и уже давно работает на пределе.

Как же это могло случиться? Какие причины привели к такому значительному отставанию? Потребовался серьезнейший и всесторонний анализ с позиции перестройки, чтобы объективно оценить размеры нашего отставания, критически проанализировать содержание и ориентиры издательской политики.

Что же требует от нас сегодня нетерпеливый читатель? Дать ему нужные книги и немедленно! Он уверен: книги — не капуста, не сахарная свекла, не помидоры и огурцы, наконец, не стада овец, коров, не новые заводы со сложнейшей современной аппаратурой. На создание их ие нужны годы и благоприятная погода. Мол, стоит книгоиздательской бюрократии чуть-чуть пошевелиться, и прилавки будут ломиться от нужных книг и книжный дефицит отойдет в небытие...

Но я должен огорчить. Отрасль наша требует такого же кропотливого и внимательного отношения и очень значительных финансовых вложений, как и здравоохранение и народное образование. Мы отстаем от лучших мировых образцов книгоиздания (английских, западногерманских) на тридцать — сорок лет... Не для оправдания, а справедливости ради, приведу несколько примеров.

Гиганты нашей отрасли, работающие ныне на предельных оборотах, — Первая Образцовая типография в Москве, ленинградские «Печатный двор» и «Техническая книга» — размещены в зданиях дореволюционной постройки. Ярославский, Калининский, Саратовский и Смоленский комбинаты сооружены четверть века назад и нуждаются в полной технической реконструкции, потому как выработались и давно отстали от века... Из 80 тысяч единиц полиграфического оборудования, работающего иа предприятиях Госкомиздата, 50 процентов требует немедленной замены из-за крайне высокой степени физического и морального износа. Доля ручного труда у нас — 40 процентов. Показатель один из самых высоких в стране! 60 процентов печатной продукции выпускается с наборных машин, с давно устаревших линотипов, которые в ведущих книгоиздательских странах можно сыскать только в музеях.

Уже много лет потребность в основном полиграфическом оборудовании книгоизданий не удовлетворяется и наполовину, а книжно-журнальных печатных машин производится просто мизерное число в сравнении с нашими острейшими нуждами.

Не лучше дело обстоит и с бумагой. Опять же, казалось бы, в стране ее производится немало. И создается впечатление, что бумаги вполне бы хватило, чтобы удовлетворить любой дефицит, но увы... От общей доли Госпланом выделяется Госкомиздату СССР лишь 16 процентов! К тому же ни по качеству, ни по ассортименту она ие отвечает требованиям полиграфии.

Легко ли признать, что по производству бумаги наша страна находится на 42-м месте в мире! На душу населения у нас приходится ее менее 34 килограммов, а в США — 290... Нужен ли тут какой-нибудь комментарий?!

Но в том и состоит парадокс, что при столь «аховом» оснащении и обеспечении отрасли она не только не снижает объемов выпускаемой продукции, а, напротив, наращивает их. Пять с половиной миллиардов книг — за два с половиной года. Прибавка против пятилетнего плана 13 процентов — 84 тысячи названий книг и брошюр общим тиражом 2,8 миллиарда. Больше книг в мире издает лишь Китайская Народная Республика.

Очевидно, вот эта напряженная работа издателей, полиграфистов и породила иждивенческое отношение к отрасли со стороны центральных органов — Госплана, Госснаба, — которые, полагаясь на постоянную высокую рентабельность, из нее только брали, мало что вкладывая а научно-техническое развитие книгоиздания, современное обеспечение и улучшение социально-бытовых условий работающих.

Сегодня трудно назвать какую-либо область народного хозяйства СССР, которая имела бы столь высокий вклад отчислений в государственный бюджет. Объем реализации всей печатной продукции ныне составляет более 5,5 миллиардов рублей, и около 70 процентов прибылей отчисляется в госбюджет.

Однако казна, прямо скажем, всегда скуповата на отдачу. Такое положение не может оставаться в прежнем состоянии. Мы находимся на рубеже, когда отрасль будет поступательно снижать показатели выпуска книг.

Пишу об этом, чтобы получить поддержку широкой читающей общественности, интеллигенции, общественных организаций в надежде, что они окажут влияние на наши планирующие и финансовые органы, чтобы в ближайшее время существенно изменить вклад капиталовложений в книгоиздательскую отрасль.

Не хочу, чтобы у читателей создалось представление, будто сами мы сидим, сложа руки в ожидании государственных субсидий на материальную базу.

Мудро сказано: дорогу осилит идущий...

Какой путь мы видим в нынешних условиях наиболее приемлемым? Хозрасчет, а с ним изменение производственных отношений и наращивание производительных сил, и демократизация всего книжного дела. Это две главные идеи, практическое осуществление которых приведет к коренным изменениям в отечественном книгоиздании.

Год назад часть наших издательств перешла на хозрасчет, а в этом году уже все... Не скажу, что этот переход нам дался легко. Наша отрасль, в некоторой степени, уникальна. Она объединяет усилия столь тонкой сферы жизни общества, как интеллектуальная, творцов духовного — писателей, ученых, художников, но также и редакторов, тех, кто непосредственно работает с творцами, но еще и десятки тысяч рабочих, инженеров, тех, кто обеспечивает материальное воплощение книг...

Прошел год работы на полном хозяйственном расчете (при выборе мы предпочли вторую модель). Какие принципы были положены в основу?

Во-первых, самофинансирование и самоуправление.

Во-вторых, создание финансово-экономической базы для выполнения государственного заказа — выпуска учебников, детской литературы, справочных изданий, периодической литературы и литературы, предназначенной на экспорт. Источники финансирования этих изданий отчасти централизованы, т. к. выпуск многих из них убыточен, поскольку мы намеренно оставляем на них низкие цены, позволяющие всем слоям населения покупать такие книги. Это и есть социальная политика.

В-третьих, в экономику отрасли внедряется система изданий по ценам «спрос — предложение». Эта практика выпуска бестселлеров, приключенческих и детективных книг, редких изданий для библиофилов, собирателей, узких специалистов формирует своеобразную рыночную модель, необходимую в условиях прямых отношений с потребителями.

Хозяйствование на принципах полного хозрасчета в соответствии с Законом о предприятии позволяет обеспечить более широкую демократизацию в издательском деле. Появляется возможность отказаться от старой системы управления, когда все вопросы — тематика и объемы выпуска книг, цена, тиражи изданий, распределение средств от их продажи, формирование фонда заработной платы, социально-производственное развитие коллективов — решались на уровне Госкомиздата СССР, госкомиздатов союзных республик.

Опыт истекшего года убеждает, что вторая модель полного хозрасчета, при которой фонд оплаты труда формируется как остаток хозрасчетного дохода, позволяет рационально сочетать государственные рычаги воздействия с рыночными отношениями.

Дальнейшее продвижение по этому пути нам видится в арендном подряде, который, по нашему убеждению, как рычаг, позволит сдвинуть с мертвой точки низкорентабельные предприятия, оздоровить их финансовое положение, повысить эффективность производства, улучшить социальную сферу. Недавно мы заключили договоры об арендных отношениях с московскими типографиями № 8 и № 11, Московским заводом полиграфической фольги, а также впервые в отечественном книгоиздании подписали арендный договор с издательством «Книга». В течение года намерены подготовить необходимые условия для перехода на эту форму в 1990 году значительной части предприятий центрального подчинения. Отрадно, что инициатива установления арендных отношений идет снизу — от трудовых коллективов.

Основной обязанностью Госкомиздата в этих новых условиях становится решение вопросов, связанных с внедрением научно-технических достижений, планами технического перевооружения, подготовкой и обучением кадров. Отпадает необходимость в контроле за множеством показателей. На практике будет действовать простая схема: внес плату за аренду — хозяйствуй; сработал нерасчетливо — пострадай от убытков. Представляет интерес возможность выпуска акций для своих работников на сумму, равную стоимости приращенных за счет собственных средств основных фондов, за которые уже не будет взиматься арендная плата.

Расширение прав в распределении хозрасчетного дохода должно положительным образом отразиться на улучшении социальных условий. Уже и сейчас трудовые коллективы могут предоставлять своим работникам безвозмездные ссуды за членство в ЖСК, беспроцентные ссуды членам садовых товариществ, безвозмездные ссуды молодым семьям, дотации на квартирную плату ветеранам труда.

Мы намереваемся совершенствовать новый механизм хозяйствования путем создания акционерных социалистических предприятий, действующих на основе самокредитования с привлечением личных средств работников через выпуск акций. А развивать арендные отношения предполагаем путем разработки системы налогообложения и средств, направляемых на оплату труда.

Особый вопрос в освоении хозрасчета — цены. Госкомиздат здесь находится между молотом и наковальней. Предприятия, издательства стремятся строить коммерческую политику, эксплуатируя повышенный интерес к книге, а читатель-покупатель всегда хотел бы приобрести ее по сносной цене. Отсюда постоянное напряжение этих двух энергетических полей... Наша позиция сводится к тому, что цены должны быть экономически обоснованными. Нынешняя система ценообразования сложилась в 50-е и 60-е годы, и до сих пор ее принципы во многом не изменились. В основе их лежит понятие книги как любого другого товара, цена на который устанавливается исходя лишь из затрат издательств, полиграфических предприятий, книготорговых организаций. В определенной мере учитывается и качество полиграфического исполнения. Но ведь ценообразующими факторами являются и содержание, и актуальность темы, и оперативность выпуска, наконец, спрос на книги. Однако они сегодня почти не учитываются. Подобное положение нельзя признать справедливым. Удельный вес убыточных изданий в общем объеме выпуска ныне превысил 50 процентов. Это главным образом детская, научно-техническая, учебная и общественно-политическая литература — то, что сегодня издается по госзаказу.

Мы убеждены, что оптимальное решение вопроса не может основываться на односторонней крайности — неоправданном повышении стоимости книг. Конечно же, заманчиво, и к этому склоняются многие экономисты, активнее включить в развитие книгоиздания рынок. Однако, переключаясь на повышение его роли, не следует терять из поля зрения ориентиры. Мы, издатели, никогда не покроем свой гражданский долг, если будем взвинчивать цены, не принимая во внимание материальное положение различных слоев нашего общества.

К сожалению, не избежали мы и общего увлечения: наращивать товарную массу, вымывая из производства дешевый

ассортимент. Общая сумма повышения цен на книги по издательствам союзного подчинения составила в 1988 году 49 млн. рублей или 8,6% от общего объема реализации. По сравнению с 1987 годом объем реализации книжной продукции в розничных ценах вырос на 9,5%, в то время как объем в печатных листах-оттисках увеличился лишь на 2,6 процента. Произошло это по многим причинам. Здесь и ввод в действие нового издательства «Книжная палата» (0,7 процента), и изменение цен на научно-популярную литературу (0,4 процента), и ассортиментный сдвиг (1,2 процента), и многое другое, но главное — договорные цены (4,4 процента). Именно за их счет издательства обеспечили себе прирост дохода на 6 процентов, или на 33 миллиона рублей. Мы считаем, что подобная практика неразумна, не стимулирует рост натуральных показателей...

Любые реформы, будь они даже трижды замечательными, останутся лишь бумажным памятником или растворятся в суете повседневности, если под них не будет подведен надежный фундамент. Таковым мы считаем глубокую демократизацию издательского дела, системы отношений в отрасли. Во все времена книгоиздание не только отражало содержание социальных и духовных процессов, происходящих в обществе, но во многом зависело от них. Отсюда и то, что ныне нуждается в переменах в нашей общественной жизни, все, что называем мы застойными явлениями, глубоко проникло в книжное дело, привнеся в эту живую творческую сферу косность, омертвелость исполнительства. Качество достигалось за счет четкости и быстроты реагирования на поручения сверху.

Демократизацию же в книгоиздании можно вполне отнести к важнейшим духовным преобразованиям в нашем обществе. Этот процесс носит не только политический характер. Он впрямую воздействует на содержание книги, освобождая ее от демагогии, оглупляющей заданности, идеологических клише, тематической ограниченности. Иными словами, демократизация книгоиздания высвобождает духовные силы народа, дает им простор и энергию...

Столь высокие задачи мы видим в развитии этого нелегкого процесса. И принимаем вполне конкретные меры, чтобы придать ему энергичное ускорение.

Пытаемся отучить издателей от привычки работать под административным давлением. Ибо оно приучило издателей к бюрократическому, бездумному подходу, к субординационной оглядке, к работе только по команде свыше. Вот почему, определяя демократизацию издательского процесса как одно из главных направлений преобразований в отрасли, мы исходим из реальных условий, в которых находится наше книжное дело.

Разумеется, я далек от упрощенного понимания, что издательский бюрократизм, консерватизм, якобы, феномен сегодняшнего дня и только. Это явление давнее, в известной мере даже интернациональное, со своими окаменелыми обычаями и нравами. Бальзак, Джек Лондон, Достоевский, десятки, сотни других. Кто сосчитает их дни, месяцы, годы жизни, проведенные в битвах с издателями? А возможно ли подсчитать их творческую энергию, ушедшую в песок редакторских проволочек и равнодушия?

Конечно же, период сурового администрирования наложил определенный отпечаток на издательский процесс, лишив его творческого начала. Но многое в бюрократизме и консерватизме и от специфики издательского дела со времен его становления: автор — издатель — читатель. Автор убежден, что принес в издательство, по меньшей мере, талантливое произведение, хотя нередко он и преувеличивает значимость своего творения. Принимая рукопись, редактор объективно становится первым ее судьей. Верно, что правильную оценку произведению могут дать только время и читатели. Но первая-то принадлежит издателю, который проявляет при этом вполне понятный субъективизм и консерватизм. Более того, они в какой-то мере неизбежны, ибо количество рукописей всегда превышает издательские возможности. И на тернистом пути книги издатель, быть может, — одно из самых серьезных препятствий в конкурентной борьбе за право ее на жизнь. С другой стороны, не секрет, что на издателя в наших условиях оказывают мощное давление и «литературные генералы».

Демократизация издательского процесса, по нашему мнению, должна предусматривать освобождение редактора от этих пут. Мы видим два пути: одно — демократизация книгоиздания, другое — повышение роли ведущей фигуры книжного дела — редактора. Уверен, что покушений на него в новых условиях будет предостаточно.

И все же противоречия в цепи автор — издатель вряд ли можно преодолеть при помощи одних административных усилий. Чтобы осилить путь демократических преобразований, есть лишь одна гарантия — разумное соотношение прав и обязанностей издателя и автора. Не следует забывать, что издатели и сами являются жертвой бюрократизма.

Насколько мне известно, в издательской практике на Западе для принятия решения о судьбе рукописи достаточно одного редактора. А сколько у нас? Читают редакторы, рецензенты, начальники. Не дай бог, если автор не согласится с их решением не публиковать! Тогда, бывает, что включают всех, даже председатель Госкомиздата вовлекается в перипетии... И сколько же сил отнимает это, к каким моральным и временным потерям неизбежно ведет! Усложняется, удлиняется путь книги, а в результате даже самая посредственная рукопись под давлением автора срочно дотягивается и переписывается. И это не единичный случай. Это система, с которой надо расставаться, не откладывая, ломая все административные и психологические препоны.

Стоит подумать и над тем, а возможно ли вообще демократическое министерство, демократический Госкомиздат, учитывая, что мы в последние годы подвергаемся нападкам буквально со всех сторон. А некоторые писатели, литераторы, ученые вообще склонны видеть в нашем учреждении общественного врага. Проведи, пожалуй, социологи опрос среди различных категорий трудящихся об их отношении к аппаратам управления и, думается, многие, очень многие вынесли бы свое суждение с беспощадной категоричностью: не заслуживает враг иной доли разве что быть уничтоженным.

Слов нет, министерства и сами «потрудились», чтобы подобного рода оценки звучали в разговорах на улице, в печати и с трибуны XIX партийной конференции. Справедливость иных претензий общественности к стилю и методам, а порой, и результатам их работы не вызывает сомнений. Сегодня мы отчетливо увидели, что на протяжении многих лет министерства все сильнее и сильнее отрывались от человека, от его реальных потребностей и запросов. Обо всем этом уже многократно говорено на страницах печати.

Однако, с другой стороны, антиминистерские залпы в органах массовой информации, попадая в цель, поднимают клубы пыли, за которой нередко перестают просматриваться ориентиры стрельбы, а она из средства превращается в цель: крушить во что бы то ни стало...

Современное общественное развитие немыслимо без сильного центра с четко отлаженной системой управления, основанного, по мысли В. И. Ленина, на привлечении самых широких масс. Следуя этому положению, неизбежно приходишь к выводу, что сегодняшняя общественная неудовлетворенность негодным стилем управления не должна рассматриваться иначе как созидательная сила. Не уничтожение министерства вообще, а непримиримость в отношении исторически скомпрометировавших себя методов его работы, не подрыв сложившихся основ государственного управления, а радикальная их перестройка. Это, убежден, и есть отвечающий сегодняшним реалиям выход из положения, когда, перефразируя известную ленинскую мысль, низы не хотят, а верхи не могут жить и управлять страной по-старому.

Признаться, предвижу улыбки иных зубров-аппаратчиков, немало повидавших на своем веку различных министерских катаклизмов: сокращение штатов, пересмотры структур, их усовершенствование. Совсем недавно в управленческом хозяйстве страны закончился очередной такой пересмотр, в рамках которого все ведомства провели радикальную инвентаризацию своих штатов и структур. Нет ли опасности, что после взбудораживших систему преобразований все со временем вернутся на круги своя? Есть. И Госкомиздат СССР здесь не является исключением... На одном из партийно-хозяйственных активов отрасли прозвучала мысль, что затянувшаяся перестройка структуры управления Комитета заставила аппарат жить в гнетущем ожидании перемен и потому бездействовать. Но как только она закончилась, аппарат приготовился взять реванш. Тревога вполне оправданна. Ведь люди, современники застоя, в основном остались за письменными столами и горят желанием продолжать трудиться. Сокращение штатов — это не

всеохватное увольнение. Большинство из них — профессионально подготовленные и добросовестные работники. Значит корень зла зарыт в чем-то другом? Убежден, что искать его надо там, где существуют возможности принимать волюнтаристские решения, когда не допускается контроль общественности за их подготовкой и принятием. Иными словами, сила центра заключается в его способности энергично и всеобъемлюще аккумулировать общественные запросы, находить общий знаменатель и проверять его отношением самого широкого круга заинтересованных лиц, т. е. речь идет о глубокой демократизации стиля и методов работы аппаратов управления. Здесь, пожалуй, мы имеем оголенный нерв во всей государственной системе, который находится на пути мучительной выработки универсальной системы управления.

Конечно же, проблема эта решается только тогда, когда есть четкие ориентиры, как это делать. Прежде всего, мы решили открыть двери Комитета для всех желающих высказаться по вполне конкретным вопросам книгоиздания. Для этого мы создали Общественный институт книги. Он действует на принципах конкурса читательских идей по совершенствованию книжного дела. И создание его вызвало бурную реакцию читателей. Сотни заинтересованных посетили первые два заседания, выступило более 90 человек и около полутора тысяч писем с деловыми предложениями уже получено. Главная задача Института — формирование общественной активности и механизма общественного воздействия на процесс перестройки книгоиздания: именно массовый читатель является самым строгим, самым заинтересованным, самым мудрым и объективным судьей. На ежемесячных его сессиях ответственные сотрудники Госкомиздата, не исключая Председателя и его заместителей, будут публично выступать с разъяснением издательской политики, отвечать на критические замечания...

Открыв общественный институт, мы убедились, что люди живут книгой, они заинтересованно судят обо всем, что связано с ее производством, и неистощимы на самые неожиданные идеи, как дело наше улучшить. Недавно мы принимали у себя московских писателей и читателей, а диалог с ними вели издатели — руководители наших главных издательств... И еще раз убедились, насколько прав читатель в своих претензиях к нам.

Живое общение с людьми в присутствии журналистов, на наш взгляд, более чем недремлющее начальственное око повысит ответственность исполнителя за свои слова, за дело, ибо суд общественности, пожалуй, самый действенный. В будущем намерены расширить географические рамки работы этого Института и проводить его выездные сессии в трудовых коллективах в Москве и в других городах, в союзных республиках.

Демократизации управления книгоизданием, по нашему мнению, будут служить Совет директоров издательств, а в последующем очевидно и Ассоциация издателей. Дело это непростое — очертить круг их полномочий и обязанностей, демократическим путем рассмотреть в издательствах и тесно увязать с деятельностью Комитета. В практике советского книгоиздания ничего подобного прежде не существовало. Мы идем в данном случае неизведанным путем, на котором неизбежны многочисленные трудности. Однако, демократизация предполагает новую систему управления и координации издательского дела в стране и надо не без трудностей идти по этому пути.

Намерены создать и Экономический совет. Если работа общественных институтов будет затрагивать производственную и хозяйственную сферу отрасли, то ее координатором, конечно же, должен стать общественный Экономический совет. По нашему мнению, он мог бы определять перспективы комплексного развития книгоиздания и вырабатывать рекомендации, определяющие приоритетные направления в экономике отрасли, глубоко и серьезно рассматривать вопросы ценообразования. Именно ему предстоит прогнозировать результаты углубления радикальной экономической реформы освоения хозяйственного хозрасчета, развитие нетрадиционных отношений между издательствами, предприятиями промышленности и книжной торговли с отраслевыми органами управления. Надеемся, что он поможет нам выработать рекомендации по внедрению в книгоиздании межотраслевых научных разработок по социально-экономическим проблемам.

В последнее время в ряде центральных изданий появились статьи, авторы которых ставят под сомнение необходимость проведения государственной политики в книгоиздании, считая, что оно должно развиваться без его вмешательства, стихийно. Думается, что по этому поводу надо сказать особо.

Государственная книгоиздательская политика ставит своей целью удовлетворение прежде всего духовных потребностей человека. Дело это не только трудное и ответственное, но и дорогостоящее. Ведь, как известно, половина выпускаемых ныне книг — и в первую очередь детская литература — убыточна и государство оплачивает их издание дотациями. Не будь этого, в условиях жесткого хозрасчета, читатели не увидели бы огромное количество книг, выход которых был бы приостановлен коммерческими соображениями. Нетрудно предположить, что последствия этого отрицательно сказались бы на культурном уровне общества, его духовном и интеллектуальном потенциале. Но эта одна сторона вопроса.

Другая заключается в том, что каждое отдельное издательство, будь оно оснащено даже самым современным оборудованием, не способно сегодня само изучать массовый спрос и конъюнктуру на книги. Для этого у него нет необходимых возможностей. Издательству, конечно же, проще плыть по течению массового спроса, оперируя десятком бестселлеров. Другое дело, если функции научной выработки издательской политики, основанной на строгом учете спроса, будут гарантированы государством, у которого для этого существует необходимая научная и материально-техническая база. Успех проведения такой политики во многом зависит от уровня развития этой базы, степени ее прикладной ориентации на нужды и потребности читателей. Она позволит оперативно и рентабельно определять приоритеты книгоиздания, соотнося их с массовым и специфическим читательским интересом. Наконец нельзя забывать, что задача материально-технического обеспечения книжного дела страны — одна из серьезнейших, и решить ее проще и эффективнее в рамках централизованной государственной заботы.

Мы убеждены, что в системе общественных отношений при социализме государственная политика книгоиздания необходима, ибо ориентируется прежде всего на человека, его духовное и нравственное здоровье, без оглядки на те факторы, которые конечно же деформировали бы ее в сторону обыкновенного коммерческого интереса, наживы, не будь строгой государственной опеки. Собственно, это и было точкой отсчета в становлении государственного книгоиздания после революции. И накопленный с тех пор опыт, несмотря на многие негативные моменты и трудности, служит нам верным ориентиром сегодня.

Я бы покривил душой, если бы на столь мажорной ноте закончил размышления о демократизации издательской сферы. Это не столбовая дорога, а процесс, который требует не только подвижнических усилий, но и аналитического изучения действенности принятых мер: по ленинской мысли, нам необходимо порой возвращаться назад, заново переделать, перестроить то, что только что сделали. Взять, к примеру, выборы директоров издательств, которые мы уже почти два года проводим в системе Госкомиздата СССР. На основе выборов пришли к руководству 25 директоров центральных издательств. Преимущества этого бесспорны. О них многократно говорилось. Это, в частности, выборы в издательствах «Машиностроение», «Металлургия», «Международные отношения» и многих других. А вот о некоторых негативных сторонах мы молчим. Скажу откровенно: они есть и суть их заключается в следующем.

В чем прежде всего заинтересован коллектив издательства, в котором проводятся выборы? Практика показала, что в этом вопросе есть весьма существенные допуски, позволяющие порой коллективу во главу угла ставить только свои эгоистические интересы: проголосуем за своего человека, он обеспечит нам премии, социальное развитие. И здесь мы обязаны видеть, где интересы издательских работников входят в противоречие с общественными, и нужен директор способный не ублажать коллектив, а обеспечивать читателей нужными книгами. Это не беспочвенные рассуждения.

Говоря об этом, хочу выразить надежду, что журнальная рубрика «Книга и перестройка» вызовет живой интерес и у издателей, и у читателей, и у авторов книг — писателей, ученых, нашей интеллигенции... И явится еще одним источником плодотворных идей, способных улучшить наше книгоиздание.

К 675-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

РАДОНЕЖЬЕ ОТ СЛОВА «РАДОСТЬ»



Вячеслав КЛЫКОВ

Родился в 1939 году в селе Мармыжи Курской области. В 1968 году окончил Художественный институт имени В. Сурикова.
Широкую известность принесли скульптору его работы, украшающие Детский музыкальный театр (1980 г.), памятники: поэту Николаю Рубцову в г. Тотьме (1985 г.), Сергию Радонежскому (с. Городок, 1987 г.), поэту Батюшкову — скульптурная группа установлена в Вологде. Международное признание завоевал Меркурий, созданный В. Клыковым в 1980 г. и воздвигнутый 3 года спустя у входа в Совинцентр в Москве.
Лауреат Государственной премии СССР (1982 г.) и Государственной премии РСФСР имени И. Репина (1988 г.). Участник многих выставок — в стране и за рубежом.

Памятник Сергию Радонежскому работы скульптора Вячеслава Клыкова в Подмосковье.

ФОТО П. КРИВЦОВА

Сергий Радонежский.

Образ этот встает громадой из небытия, словно солнце из-за горизонта, и освещает собой историю нашу, нет, не одну, далеко не одну ее страницу.

Что знаем мы о нем, потомки множества потомков людей, разгромивших на Куликовом поле Мамаевы орды? Мы знаем о нем так мало. Так мало — о личности, о жизни, деяниях его. И мы знаем о нем все. Ибо даже та малость, что продирается к нам еще в детстве, через сухой частокол строк учебника истории, скороговорку энциклопедии, а то и, быть может, художественного повествования, доносит до нас смысл его жизненного подвига. «Инициатор введения общежитийного устава в русских монастырях. Активно поддерживал объединительную и национально-освободительную политику князя Дмитрия Донского, к которому был лично близок» — строки из Советского энциклопедического словаря, издания 1980 года, где перепутаны даты жизни «основателя и игумена Троице-Сергиева монастыря», обители, ставшей центром церковного просвещения, мысли, литературы и искусства. Обители, получившей имя Сергия практически при его жизни: так велико было обаяние просветителя среди последователей, учеников. Среди простых людей, детей которых он учил грамоте, резал им игрушки из дерева, сажал дубравы и сады. Пешком исходил он русскую землю, призывая к добру и единению, возрождению человеческого достоинства.

Первые жизнеописания Сергия Радонежского сделал Епифаний Премудрый (так прозвали его за начитанность и литературный талант). Епифаний был современником Сергия, жил в Троицком монастыре с 1375 по 1406 год. Нельзя не доверять ему. Епифаний рассказывает о том, как Сергий и брат его — дети обедневшего боярина из Ростова Великого, поселились в небольшом городке Радонеж. После смерти родителей ушли они в лес, чтобы там «пустынножительствовать» и, на холме Маковец, что стоит неподалеку от Радонежа, поставили келью и «церковь малу». Так в 1345 году началась многовековая история Троице-Сергиева монастыря.

Вскоре старший брат Стефан ушел в московский Богоявленский монастырь; младший же, принявший после пострижения имя Сергий, продолжал начатое дело.

Епифаний повествует нам о человеке, обладавшем замечательными личными качествами: «крепкий душою», «могутный за два человека», «мало же словесы глаголавша, вящая же делы учаша». Духовный советник великого князя Дмитрия Ивановича, Сергий крестит его сыновей, держит государственный совет, вдохновляет на беспримерный в истории подвиг. Облачившись в боевые доспехи, князь Дмитрий Иванович вошел в строй рядом с витязями и рядовыми воинами на Куликовом поле: «Если же умру, то с вами, если спасусь, то с вами!..»

Это ли не блестящее воплощение идеи нравственного самосовершенствования, философского течения, носителем которого на Руси был Сергий Радонежский! Терпимость и спокойствие, обращение к духовному миру человека — основы учения Радонежского, собиравшего под объединяющее знамя освобождения Руси гонимых и униженных. «Сказание о Мамаевом побоище» доносит до нас все величие, красоту и мужество сподвижников Сергия, его учеников, в чьих образах отражается лик их наставника, свет его подвижничества. Ратоборцы Ослябя и Пересвет. В монашеской одежде вышли они на бой с врагом, впереди ратной цепи. Первыми вступили в схватку с «богатурами» Мамая... Не только церковь, сам народ, его предания и легенды, окутали их ореолом святости.

Так бывает всегда с героями, погибшими за его счастье и мир... Семена мира и разума при решении споров между удельными княжествами неустанно сеял Сергий Радонежский, «начальник и учитель все монастырям иже в Руси», и его последователи — Пафнутий Боровский, Кирилл Белозерский, Афанасий Высоцкий, Андроник, Зосима и Савватий. В Троицком,

где монахи, следуя учению Сергия, составляли единую общину, вели общее хозяйство и кормились «от рук своих», живали, кроме Епифания Премудрого, первого биографа Сергия и летописца его обители, Стефан Пересвет, Нил Сорский, другие выдающиеся люди русского Возрождения XV века. С Троицким монастырем неразрывно связано имя Андрея Рублева, великого художника Древней Руси. В «Сказании о святых иконах» XVII века записано следующее: «Преподобный Андрей, родонежский иконописец, прозванием Рублев, писал многие святые иконы, чудные зело и украшенные. Тот Андрей прежде жил в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Тот повелел ему при себе написать образ пресвятой Троицы, в похвалу отцу своему, святому Сергию-Чудотворцу...»

Сбиваясь на перечисления его деяний, биографическую справку, пытаюсь уйти в тень, ибо имя это не нуждается в моем участии, чтобы воскреснуть хотя бы на миг. Оно, кажется, и не исчезало никуда. Устояло во всех бурях. Канонизировано Русской православной церковью. Любимо народом, как любимы имена героев Куликова поля, Бородина, Великой Отечественной. Имя духовного наставника великих ратоборцев было дано городу Сергиеву Посаду. В 1919 году он назван был «Сергиевым». В 1930 году переименован в Загорск...

Да, в Загорске есть памятник, построенный «в похвалу» Сергия Радонежского — белокаменный Троицкий собор Лавры. Для этого собора Андреем Рублевым была написана всемирно известная икона «Троица». Иконостас собора сохраняет красоту и величие творчества древних мастеров. В неразрозненном, целостном виде он дошел до наших дней. Образ Сергия вдохновляет и сейчас русских иконописцев, лучший и совершеннейший из которых — монах Псково-Печерского монастыря Зенон... Но светского памятника великому просветителю и единителю русского народа до сей поры не было. Почему?.. Я не стал задаваться этим вопросом. Мне было ясно одно: памятник необходим, ибо никогда не иссякнет наше преклонение перед его нравственным подвигом, хотя и приходится по различным — и увы! — немногочисленным серьезным источникам — восстанавливать его образ. Некоторые из них стали уже доступны, хотя в масштабах страны и не очень многим — труды великих историков прошлого — Карамзина, Ключевского, Соловьева, другие будут доступны, возможно, в будущем, ибо в учении Сергия и его последователей — истоки русской философской мысли, ее жизнестойкости, высокой духовности и красоты.

Мне кажется неуместным в этой статье говорить о том, как я работал над памятником Сергию Радонежскому. В нем мне хотелось передать ощущение святости преподобного Сергия. Я даже как бы чувствовал на своей голове его горячую легкую руку, всегда приносившую, согласно преданиям, людям, «больным и сирым», добро, успокоение, радость. Ведь это в наших традициях: поставить памятный знак всенародному Святому! Любимому герою, любимому писателю. Народ поставил памятник Пушкину; воздвиг храм Христа Спасителя в честь героев Отечественной войны 1812 года; не считаю правильным оспаривать, нужен ли Москве памятник Юрию Долгорукому. Не знаю, правильно ли также не замечать сегодняшнее убожество и запустение филиала музея архитектуры имени Щусева, что в стенах Донского монастыря, но под открытым небом! Душа содрогается, во что превратились скульптурные композиции со стен храма Христа Спасителя работы замечательного скульптора Логоиовского. А ведь потомки в них, через светлый гений этого человека, попытались впервые воплотить в камне образы Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, богатырей Осляби и Пересвета! Прекрасная композиция разрушается... Духовные традиции, заложенные мыслителем из Радонежья, учившим добру, справедливости, человеколюбию, подвигавшим на ратный труд за честь и достоинство народа, несомненно, живы, но как трудно пробить стену равнодушия, чиновного чванства, да просто-напросто — хамства, в котором почему-то обвиняют тех, кто, порой, переходит на крик от боли за разрушение памятников Москвы, за недоступность книг крупнейших наших философов и писателей (и слава богу, что они сейчас возвращаются к нам, в наш культурный оборот), за сожженные иконы русского Севера, за разоренный, ветшающий памятник — Лужецкий монастырь в Можайске. Памятник архитектуры XVII века, со стен которого открывается такой прекрасный вид, что радуется сердце от красоты и прелести земли нашей. А стены-то — лишь с «намеком» на реставрацию... И примеров тому — несть числа... Поэтому и памятник Радонежскому для меня не просто работа, хотя любую из них я делаю так, как будто после нее ничего не смогу больше сделать. В нем я выразил свою боль и свое преклонение.

Древний Радонеж... В дивном сочетании этих слов как бы слышится раскатистый ропот струн древних гуслей, повествующих о славных делах наших предков.

При взгляде на Радонежские холмы, покрытые вековыми лесами, на речку Вожу, неспешно петляющую меж этих холмов, на церковь, радостную и торжественную, как солнечное воскресение, сердце переполняется какой-то необъяснимою любовью ко всему, что было на этой земле, что есть и что будет.

А с высокого холма древнего городища, в стыке двух окоемов под разноцветной дугой радуги вспыхнет белым видением церковь Воздвижения и очарованная душа мучительно ищет благодарного слова — соответствия увиденной красоте и удовлетворенная находит их в слове-выдохе — РАДОНЕЖ...

Да... Радонеж, другое придумать бессильна душа.

Радость, Радуга, Нега, Нежность, Дождь, Жатва — все бытие заключено в этом слове и как бесценная оправа к нему — слово **Древний!** Здесь легко дышится, *дальше видится*, повседневная суета уходит бесследно.

Только в этом поле увидишь и узнаешь травинку, примятую стопами Сергия Радонежского, только здесь, в уже обмелевших водах реки Вожи увидишь отражение припавшего испить воды гениального иконописца Андрея Рублева и на коре радонежских дубов ощутишь морщины летописца Епифания Премудрого.

Святые имена эти являют собой вместе и каждый в отдельности в истории России живое воплощение христианского завета — ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ. «Такие люди, — говорит русский историк В. Ключевский, — становятся для поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками. Помнят их имена не только для того, чтобы благодарно почтить их, сколько для того, чтобы не забыть правила, ими завещанного».

В Радонеже крепко свита и переплетена в единый клубок российская трехвековая история времен раздробленности, междоусобной борьбы и объединения русских земель вокруг молодого, набирающего сил Московского княжества.

В Радонеже стояли войска Дмитрия Донского перед походом на Куликовскую битву в 1380 году, а через 200 лет с этих мест повели дружины свои Козьма Минин и Дмитрий Пожарский на освобождение Москвы от польско-литовской оккупации.

Памятник Сергию Радонежскому в селе Городок живет своей непростой жизнью. Проблем много. Проблема — насадить дубраву, где по преданию бил родник Сергия. Проблема — как-то благоустроить село. Памятник ко многому обязывает жителей — и им надо помочь. Городок становится своеобразным культурным — не центром — но местом на карте Подмосковья. Я где-то прочитал, что в былые времена монумент, сооружаемый на средства народа (в данном случае я — его частица, представитель), предполагал и новое богоугодное заведение при нем. Ведь за памятником нужен уход, присмотр. Зная тамошних жителей, уверен — они будут и так, сами по себе, ухаживать за ним. Памятник стоит на взгорье, так удачно, хорошо, весело! Но было бы хорошо также, если бы в Городке мы бы соорудили еще и, например, нечто вроде дома для ветеранов труда, с библиотекой, с хорошими, теплыми условиями быта, дом, носящий имя Радонежского. Это будет нашей скромной данью его жизненному подвигу, горению во имя людей. Он и сейчас будет с нами — в книгах, в камне, в делах. Наш великий предок. Наш современник.

ПРЕДЛАГАЕМ К ПРОЧТЕНИЮ ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА

Голубинский Е. Е. *Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра.* М., 1885, 1909.

Забелин И. Е. Троицкие походы русских царей. — «Чтения Общества истории и древностей российских». Кн. 5. Спб., 1846—1847.

Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания по пути к Троице. — Соч., т. 1, Спб., 1848.

Ключевский В. О. Древнерусские жития Святых как исторический источник. М., 1871.

Тихомиров М. Н. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М., 1892.

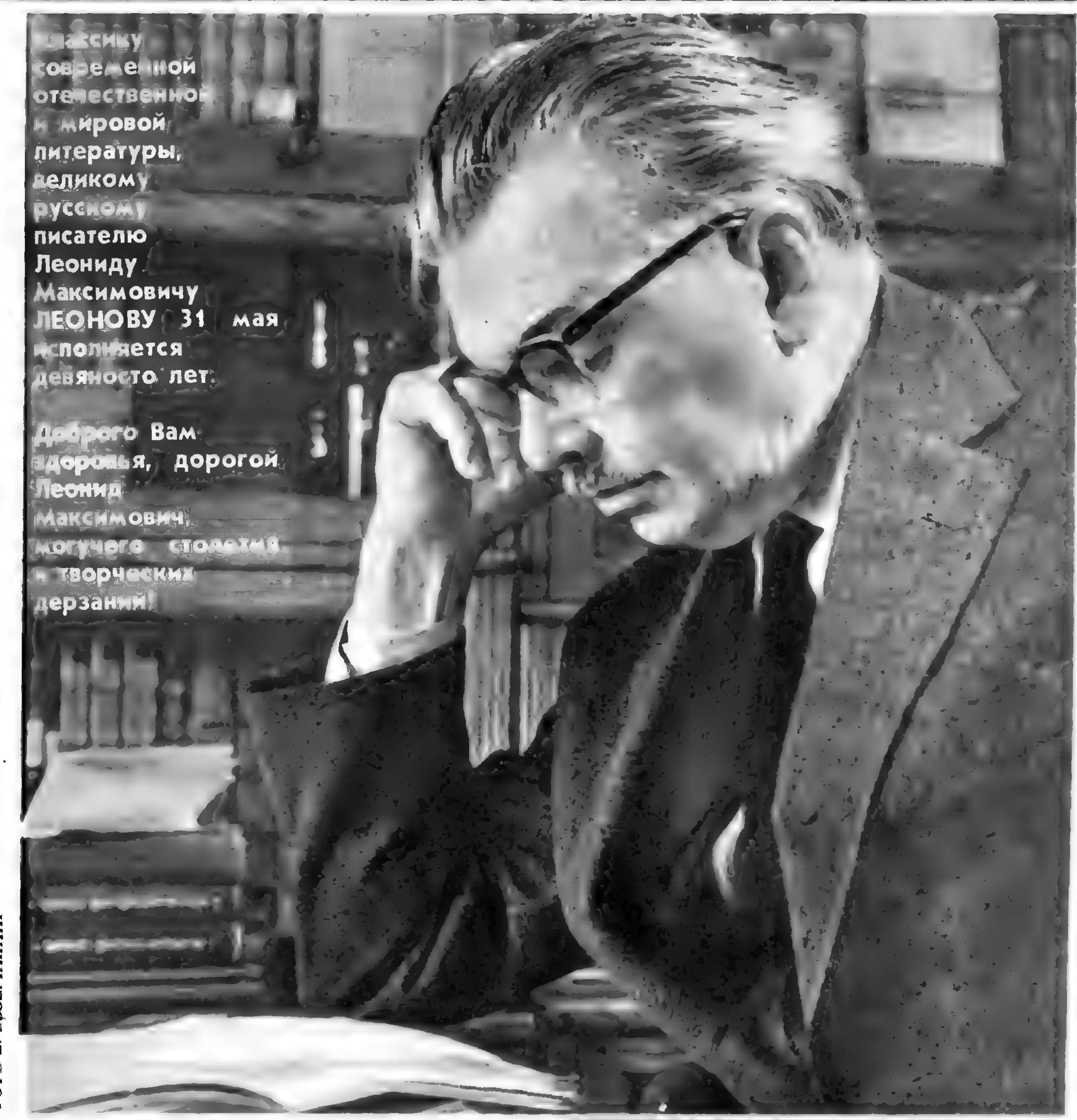


ФОТО Е. ЕВЗЕРИХИНА

РАЗГОВОРЫ С ЛЕОНОВЫМ

«Чернила стоят столько же, сколько кровь мученика», — напомнил однажды Леонид Максимович изречение арабского доисламского поэта.

Творчество, муки творчества, отношение к писательскому труду, ответственность за инструмент своего искусства — слово. Вот главная тема, к которой так или иначе, по разным поводам, Леонид Максимович возвращался. «Нужно всегда помнить, — повторял он, — чистый лист бумаги — это потенциально гениальный лист; исписанный лист бумаги — это лист испорченный...»

Иногда, в изломе фразы, вдруг загорался отблеск эпохи — сурового и отошедшего времени. Рассказ переключался на положение писателя, которого в двадцатые годы по дурной, даже злой и наветной привычке именовали «попутчиком», на знаменательные встречи с Горьким, на ожесточенную литературную борьбу и недобросовестную критику. Голографически объемно высвечивались исторические лица самого высокого общественного и литературного ранга, звучали их реплики, при своей почти латинской лапидарности способные круто изменить или даже сломить любую судьбу...

А разговоры наши касались самых разных предметов, но порой переходили в его монолог. Иногда это были отдельные новеллы. Как, например, вот эта...

— Я очень люблю Брейгеля, — говорил не раз Леонид Максимович. — Брейгеля Старшего, так называемого, «Мужицкого». И об этом у меня кое-что сказано в повести «Evgenia Ivanovna». Знаете, что в нем особенно поражает? Вот штришок, черточка, почти точка. А при увеличении, под увеличительным стеклом она оказывается человеческой фигуркой, птицей, деревом. У меня жила сумасшедшая мечта — иметь Брейгеля. Хотя в России, кажется, было только две его картины. Одна в Эрмитаже, а другая в частной коллекции, по-моему, у Морозова.

В двадцатые годы, как вы знаете, я дружил с художником Остроуховым и часто навещал его в доме, где он жил, возле церкви Ивана Воина на Якиманке, давно снесенном. Мы дружили, несмотря на разницу в возрасте: мне было 27—30 лет, ему — семьдесят.

Илья Семенович собрал большую коллекцию живописи. Во время революции ее национализировали. Но у него оставалось множество собственных превосходных полотен, понемногу он снова начал свое собирательство. И очень страшился, что его ограбят. Из-за этого Остроухов ложился спать в три-четыре часа ночи. Было у него немало всякой всячины. Когда Илья Семенович скончался, я сам видел в его коллекции тетрадку, исписанную рукой Лермонтова — его дневник. Все это было потом раскрадено...

— Я не раз, — рассказывал Леонид Максимович, — засиживался у него до двух-трех часов пополуночи. Говорили об искусстве, литературе, писательском труде...

Однажды я сказал ему:

— Писатель не может работать над рукописью в комнате, заставленной книгами. Ведь он вырабатывает вещество искусства. А от книг, от аккумулированной в них мысли идут свои волны. И там собрано больше, чем он может дать. Я думаю, надо работать в пустой комнате. И на стене должна висеть какая-нибудь картина, на которой можно отдохнуть глазам. Например, Брейгель...

Прошло несколько месяцев, я работал над «Скутаревским» или «Сотью» — не помню. Как-то мне звонит Остроухов:

— Леонид Максимович! Я не оторвал вас от дел? Чем заняты?

— Да ничем, — отвечаю.

— Тогда приезжайте сейчас же ко мне.

— А что случилось?

— Продается Брейгель.

И тогда я задал ему самый дурацкий вопрос, который только и можно было задать:

— А сколько он стоит?

— Сто рублей...

Сто рублей за Брейгеля! Я поехал.

Илья Семенович сидел за столом, положив свои большие синие, как из конины, руки на стол. Посреди комнаты стоял мольберт, занавешенный тканью.

— Глядите же, — сказал он.

— Я, — вспоминает Леонид Максимович, — открыл картину. Она была нарисована на дереве, старом, укрепленном для прочности крестовиной сзади.

Да, это был Брейгель. В левом нижнем углу хорошо видна была цепочка идущих людей, как на картине «Охотники», а в верхнем левом — пруд и какие-то фигуры. Зато весь центр занимала дыра, краска осыпалась, словно в картину кто-то запустил булыжником.

— Ну, что, Леонид Максимович? — Спрашивает Остроухов.

— Конечно, — говорю я, — можно аккуратно пилочкой выпилить два куска. Но что останется от Брейгеля? Ведь это, извините, все равно, что я влюблен в Анну Петровну Керн, а мне предлагают ее мумифицированную руку...

А потом сказал:

— А откуда эта картина?

— Она принадлежала Полякову...

Сергея Александровича Полякова я знал. Он был очень богатый человек. Из семьи сахарозаводчиков. Владелец издательства «Скорпион» и редактор журнала. Сам математик, но занимался и переводами.

— Картину я, разумеется, не купил, — продолжал свой рассказ Леонид Максимович. — Прошло несколько лет. Уже не было на свете Ильи Семеновича. Это была пора, когда по приказу наркома просвещения Бубнова произошла чистка библиотек и все, что казалось несозвучным времени, выбросили на продажу или уничтожили. Какие книги продавались! Из старых помещичьих собраний. Библиотеки еще екатерининских времен, из глубинной России, из городов Поволжья. Иностранцы пачками вывозили их. Шла бойкая торговля и в «Лавке писателей», которая размещалась тогда в начале Тверской. И вот однажды, перед витриной этой «Лавки», я увидел Полякова.

Я знал, что Поляков был выслан на какое-то время из Москвы. Теперь он вернулся. Понятно, ничего от прежнего богатого Полякова не осталось. Он стоял в каком-то сомнительном пальтеце, слегка склонив голову набок, и разглядывал

витрину с роскошными книгами. Купить ни одну из них ему было не на что.

Я подошел к нему, представился и сказал, что у меня есть к нему небольшой разговор. Мы отошли в сторону.

— Сергей Александрович, — спросил я, — у вас был Брейгель?

Он несколько смешался. А потом ответил:

— Да, был...

— Я видел эту картину. Скажите, что с ней произошло?

Поляков начал сбивчиво объяснять. По его рассказу выходило, что в отсутствие хозяев картиной Брейгеля накрывали чайннк с кипятком. Я не стал возражать, но характер повреждения картины был совсем иной. Высокая температура и влага оставили бы другие следы на дереве, образовался бы круг, без выщерблин.

И я понял, что во время революционных лет в квартире у Полякова происходило нечто вроде пира во время чумы. Пьяная гульба, отчаянное веселье. И кто-то бутылкой запустил в Брейгеля: «Ах, *ни нам, ни вам*!..»

Как-то Леонид Максимович вспомнил о коллективном сборнике наших писателей, посвященном строительству Беломорско-Балтийского канала (открыт в 1933 году) и происшедшей будто бы там «перековке» преступников и «врагов народа»:

— Я участвовал в поездке, организованной Горьким. Но в сборник ничего не написал. И это мне дорого стоило... Помню пароход, роскошный буфет, оркестр, непрерывно играющий вальсы. Дирижер — румяный толстяк, у которого от упитанности фалды пиджвка не сходятся сзади. Я спросил: «Кто это?» — «Видный румынский шпион!..» А по берегам стояли, беспрерывно кланяясь, мужики, с зелеными бородами, худые, руки ниже колен...

После поездки Л. Авербах собирал участников в ресторане «Метрополь», чтобы организовать сборник, воспевающий новостройку (почетным куратором книги был свм начальник ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода, кстати, родственник Авербаха). Леонов не явился. Не пришел он и в следующий раз. Авербах звонил ему: «Ворчит на вас Генрих Григорьевич, спрашивает: «Это что же — саботаж?» Но Леонов не был и на следующем их заседании... Постыдная книга, с именем Горького на титульном листе, вышла.

— Боялси, не подходил к телефону, — рассказывает Леонов. — Щекотно, знаете, было. Но меня там нет... среди этих авторов...

Смысл всего сказанного выше можно бы сформулировать просто: пора все-таки отказаться от басни, будто тогда «никто ничего не знал и не ведал...»

Однажды я спросил, получил ли Леонид Максимович где-то в конце двадцатых годов письмо писателя-эмигранта Наживина.

— Какого Наживина? Ивана? Толстовца? А вы откуда знаете?

Я сказал, что Наживин выпустил в тридцатые годы в Китае, в старом Тьендзине собрание своих сочинений. Ни много ни мало — сорок один том. И вот в томе тридцать девятом поместил его роман «из жизни современного литературно-газетного мира» «Неглубокоуважаемые» с письмом к Леонову. В нем герой, от лица которого ведется повествование, восхищается «Барсуками» и, в частности, пишет: «А так как некоторые страницы Ваши особенно захватили меня, то я как-то послал Вам сочувственное письмо. Вы чрезвычайно испугались и в какой-то московской газете поместили суровую отповедь мне, старому писателю, из которой можно было вывести: суровы чекисты в Москве...»

— Так он понял! Он понял! — Воскликнул Леонид Максимович. — Ведь его письмо пришло в самое трудное время. Жена прятала от меня газеты с разгромными рецензиями на мои вещи... — Он помолчал и заговорил о том, как рапповцы громили «попутчиков». На XVI съезде партии, например, Киршон заявил: «Вот тут о попутчиках говорили — надо различать оттенки. А по-моему, чем различать оттенки, лучше их поставить к стенке!..»

— Меня били нещадно за каждое очередное произведение, — рассказывал Леонов. — Но через неделю я снова садился за стол писать новую вещь. Писал и никогда не надеялся, что она пройдет, что она будет напечатана. Критика была злобной и глумливой. Я никогда не читал до конца статьи, чтобы не расстраиваться. Читала жена. Ей я поверял свои произведения на каждой стадии. Мне очень повезло, что она была у меня. Такой же была для Достоевского Анна Григорьевна и Софья Андреевна для Толстого... Я не надеялся, что написанное мной дойдет до читателя. Это знала жена. Она читала и мой последний роман, читала за день до смерти. Фактически я писал, может быть, только для нее. Это была моя последняя инстанция. Она помогала мне пережить все удары...

О той обстановке, какая царила в последние годы перед роспуском РАППа, Леонид Максимович с грустью рассказывал:

— У Горького время от времени, раза три или четыре, собирались руководители партии во главе со Сталиным и приглашались писатели. Обычно человек восемнадцать—двадцать. И даже Яр-Кравченко такую картину нарисовал (меня поместил на первом плане). На одном из таких собраний кто-то спросил у Сталина: «Скажите ваше мнение о литературе...» «Что я могу сказать? — ответил Сталин. — Вы сами инженеры человеческих душ. Вы сами все знаете». Вот откуда пошло это выражение — «инженеры человеческих душ»...

Бывал там и глава ОГПУ Ягода, родня Авербаха. Отец у Авербаха был нэпманом, а сам он был женат на дочери Бонч-Бруевича. Авербаха все боялись, но Ягода был еще опаснее. Тогда Авербах обвинял нас, так называемых «попутчиков» в том, что мы хотим завладеть гегемонией в литературе. А наша вина была в другом: мы просто были талантливее...

На одном из собраний у Горького, на Спиридоновке, там, где теперь музей его имени, помню, было уже два часа ночи. Почти все разошлись. Длинный стол. Накурено. Дым стоит слоями. Стол кажется поэтому еще длиннее. На том конце — Горький с Шолоховым. А на этом — Крючков и я. Напротив — Ягода. Крючков — помощник Горького. Личность! Петр Петрович мог выпить две бутылки коньяку — и ничего! Но тогда и он уже был пьян, физиономия багровая. Не смел при Сталине, а когда Сталин ушел, позволил себе. Крючков пошел за новой бутылкой. И вдруг Ягода, пьяный, встает, нагибается ко мне: «Скажите, Леонов, зачем вам нужна гегемония в литературе?» И я понял: конец. Горький только что спас академика Сперанского, патофизиолога. Лимит исчерпан. И тогда я сам притворился пьяным, взъерошил вот так волосы и ответил: «Что вы, Генрих Григорьевич! Какая гегемония? Мне нужно, чтобы на голову не гадили (я употребил более крепкое слово). А то сползает на глаза, я бумаги не вижу...» И в ответ: «Ха-ха-ха-ха-ха...» Смеется. Значит, на сей раз пронесло. Я еще не знал, что РАПП уже обречен. И конец РАППа связывается у меня с одним разговором со Сталиным. Но это уже другая история...

Для этого Леонову пришлось вернуться на несколько месяцев раньше, в тот же 1931 год.

— Я познакомился со Сталиным у Горького. В 1931 году мы возвратились с Горьким из Италии. Я был очень близок к Горькому и ходил к нему без звонка, — вспоминал в разговоре Леонид Максимович. — Мы жили рядом. Кстати, у него была большая коллекция фантастических деревянных японских фигурок. И среди них мои две работы. Они должны сохраниться и сейчас в Музее Горького. Как-то он попросил меня показать, как выглядит мой Бурыга. Я вырезал из дерева Бурыгу. И еще старичка, героя рассказа «Случай с Яковом Пигунком...»

Однажды я пришел к Горькому, — продолжал Леонов. — Он собирал антикварные книги. Это было, когда нарком просвещения Бубнов производил чистку библиотек и все драгоценности антиквариата выставил на рынок. Потрясающие книги продавались! Американские профессора и просто коммерсанты пачками покупали и вывозили инкунабулы (первые книги, отпечатанные с наборных форм, за время от изобретения книгопечатания до 1501 года — О. М.). Я, помню, приобрел тогда за гроши «Четыре книги о пропорциях человека» Дюрера, 1528 года. А позже ко мне обратилась библиотека архитектурного института с просьбой дать им этот трактат — у них не было...

Горький мне сказал: «Ступайте в библиотеку, посмотрите новые приобретения...» Я оставался там минут двадцать, поглядел книги и выхожу. Оживление, шум. Приехал Сталин. Горький разговаривает со Сталиным.

— Знакомьтесь, — говорит Горький. Мы пожали руки: «Леонов» — «Сталин». Потом Сталин спросил: «Что нового в лите-

ратуре?» Это было время самого крайнего разгула РАППа. Я сказал: «Товарищ Сталин! Если вам когда-нибудь потребуется кричать на нас и топать ногами, делайте это сами. А не поручайте злым людям, которые совершают это с двойным умыслом». Сталин внимательно посмотрел на меня и раздельно сказал: «Зачем топать? Зачем кричать?»

Думаю, этот разговор повлиял на ликвидацию РАППа, которая вскоре состоялась...

— Я, — рассказывал Леонид Максимович, — памятуя, что такое незваный гость, обратился к Горькому: «Пойду домой, не буду вам мешать...» Но он ответил: «Оставайтесь обедать». За стол сели: Горький со Сталиным — и, поодаль Ворошилов, Чуховский, Бухарин, хозяйка и я...

Это был медовый месяц отношений Горького со Сталиным. Они шумно разговаривали, хлопали друг друга по плечу, рассказывали анекдоты. Была дружба, которая затем очень ухудшилась...

В это время, с 1929 по 1932 год я был председателем Союза писателей, который существовал наряду с РАППом и другими объединениями. В правление входили Вересаев, Новиков, Лидин, Павленко. Я стал председателем, когда сняли Пильняка.

— Чтобы не мешать разговору стариков, — вспоминал Л. Леонов, — мы переговаривались тихо, почти шепотом. Ворошилов спросил меня:

— Что у вас происходит? Какие новые книжки?

— Всеволод Иванов выпустил новую книгу «Путешествие в страну, которой еще нет»...

И вдруг Сталин, разговаривавший с Горьким (у него был очень хороший слух), услышал мой шепот и сказал через стол:

— Кстати, Всеволод Иванов. Что, совсем исписался?

Я хотел было защитить Всеволода Иванова. Однако Горький остановил меня и произнес фразу. Думаю, что она спасла меня позже:

— Имейте в виду, Иосиф Виссарионович, Леонов имеет право говорить от имени русской литературы...

Сталин откинулся к спинке и секунд сорок неподвижно глядел мне в глаза. И я глядел ему в глаза. Нельзя было опустить глаза — это бы меня погубило, он подумал бы, что я в маске. Наконец Сталин медленно сказал:

— Я понимаю...

— Но что происходило со мною все дальнейшие годы? - продолжал рассказывать Леонид Максимович. — Книга вых дила, ее тотчас же принимались бить, но затем внезап брали под защиту. То же происходило с пьесами. На девя надцатом спектакле был запрещен «Унтиловск»...

Сталин в тот день, за обедом, подмигнул мне, выпив нескол ко рюмок водки:

— Леонов хитрит...

— Как хитрит, товарищ Сталин?!

— Водку не пьет.

На другой день мне предстояло писать сложное место «Скутаревском» — сцену охоты на лису. И я сказал:

— У меня впереди трудная глава. А завтра — работать.

— Понимаю, понимаю. — И через паузу: — «Унтиловск»

Значит, он ожидал появления очередного «Унтиловска» А в пьесе Редкозубов с Аполлосом поют: «Во рту сухо, в тел дрожь. Где же правда? Всюду — ложь...» Сталин мог принят это на свой счет...

— Я худо думал о своей участи, — заключил этот эпизо Леонов. — Особенно, когда исчезли Зазубрин, Пильняк и дру гие. А я всегда ходил с подмоченным задом. Мне было пло хо. И только, по-видимому, горьковские слова спасли меня.

А в 1932 году неожиданно распустили РАПП. Причин был много. Но не повлиял ли и наш тот разговор со Сталиным? Мне рассказывал потом Двинский, помощник Сталина, что видел у него на столе роман «Вор», весь исчирканный крас ным карандашом...

Я тотчас позвонил Горькому. Подошел Крючков. «Ты чита постановление?» — «Какое?» — «О роспуске РАППа» — «Как?» Он бросил трубку и побежал докладывать Горькому. Значит, и Горький не знал. Не знал и Ягода. Все было сделано помимо Ягоды... Горький превосходно понимал зловещую роль РАППа, пытавшегося лишить писателя самого главного — творческой индивидуальности.

Олег МИХАЙЛОВ

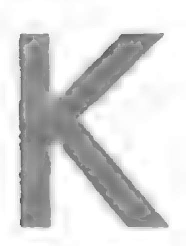
Леонид Максимович ЛЕОНОВ — коренной москвич, родился в 1899 году в семье революционера, бывшего политического ссыльного. За долгую жизнь писатель создал огромное богатство — иладезь отечественной и мировой литературы, работая практически во всех жанрах. Это сборники рассказов: «Деревянная королева» (1923), «Гибель Егорушки» (1927), цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках» (1928—1930); повести: «Петушихинский пролом» (1922), «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным», «Конец мелкого человека» (обе — 1924), «Белая ночь», «Провинциальная история» (обе — 1928), «Саранча» (1930), «Evgenia Ivanovna» (напис. 1938; опубл. 1963), «Взятие Великошумска» (1944); пьесы: «Унтиловск» (пост. 1928), «Усмирение Бададошкина» (1929), «Половчанские сады», «Волк» (обе — 1938), «Метель» (1940), «Обыкновенный человек» (1942), «Нашествие» (1942; Гос. пр. СССР, 1943; 2-я ред. 1964), «Ленушка» (1943), «Золотая карета» (1946; 2-я ред. 1955; нов. ред. 1964); публицистические сборники: «Статьи военных лет» (1946), «В наши годы» (1949), «Литературные выступления» (1966), «Раздумья у старого камня» («Роман-газета», 1987); киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961; Гос. пр. СССР, 1977), романы: «Барсуки» (1924), «Вор» (1927; нов. ред. 1959), «Соть» (1930), «Скутаревский» (1932), «Дорога на океан» (1935), «Русский лес» (1953; Лен. пр., 1957).

Вышло пять собраний сочинений Леонида Леонова: первое (в 5-ти томах) — в 1928—30 гг.; второе (в 5-ти томах) — в 1953—55 гг.; третье (в 9-ти томах) — в 1960—62 гг.; четвертое (в 10-ти томах) — в 1969—72 гг.; пятое (в 10-ти томах) — в 1981—84 гг.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик, депутат Верховного Совета СССР в 1946—70 годах.

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ за семьдесят лет творческой деятельности издавался 288 раз на 21 языке народов СССР и зарубежных стран общим тиражом 18 756 000 экземпляров. Первая книга писателя — «Петушихинский пролом» — увидела свет в 1922 году тиражом 3 000 экземпляров.

Составила Ольга МЕРКУЛОВА



КАК Я РИСОВАЛ ЖУКОВА

...В 1945 году Павел Дмитриевич работал в Потсдаме над портретом маршала Г. К. Жукова. Он охотно вспоминал время, прошедшее вблизи этого замечательного человека. Восстанавливаю по записям рассказ Павла Дмитриевича о первой встрече с маршалом: «Одели меня в Москве в военную форму, и я стал как бы офицером. Отправили в Потсдам. Пришел я на первый сеанс, провели в комнату, где я должен был писать портрет. Чувствовал себя как-то неловко. Через несколько минут вошел Жуков, поздоровались. Крепкая, сухая уверенная рука. Спрашивает меня, давно ли, с каких лет я в Москве, когда уехал из Палеха. Отвечаю, и он говорит мне: «А я по своей коренной профессии ведь скорняк и до революции работал в меховом магазине, может быть, помните, у Китайской стены на углу был такой большой магазин?» Я отвечаю, что, как же, помню. В этом магазине при входе было чучело огромного сибирского волка. На это Георгий Константинович, усмехнувшись, сказал: «Да, как же не помнить этого волка, хор-р-рош был волчище, да ведь и скорняк-то оказался не плох». Мы вместе рассмеялись.

Писать портрет Г. К. Жукова мне было очень приятно. Фигура его, военная выправка, твердые суровые черты лица, уверенность позы и движений — все это было так отчетливо, так определенно, что само собою отображалось на холсте.

Был один случай, особенно поразивший меня в личности и характере полководца. Иду, спешу на сеанс. В доме, соседнем со ставкой Жукова, наши солдаты выкидывают из окон какой-то бумажный хлам — старые книги и бумаги. Остановился я, поднял несколько листов, тонкую книгу большого формата. В книге как будто бы английский язык, а на листах, по-видимому — восточный какой-то. Подошел я к парадной двери дома, на ней бронзовая дощечка, разбираю, что на ней. Оказывается, хозяин дома — ученый, профессор, специалист по восточным культурам. Думаю, какую ценную библиотеку наши солдаты уничтожают, возмущаюсь, а что поделаешь! Волнуюсь, вхожу в комнату, где пишу портрет. Входит маршал и сразу ко мне: «Что с вами, плохо вам?» Отвечаю ему: «Вот какую картину сейчас я наблюдал», — и рассказываю ему, как листы книг, вероятно ценнейших, летели по ветру и падали на дорогу в грязь.

Помню суровое лицо маршала, блеск его глаз и как на лице возникло подобие улыбки и он, усмехнувшись, сказал: «Да чему вы, Павел Дмитриевич, возмущаетесь, летят с плеч миллионы человеческих голов, а вы о каких-то бумагах беспокоитесь...» Суровый сделался, сел на стул, и я, взяв себя в руки, начал писать.

Не прошло, однако, и десяти минут, маршал встал и говорит: «Извините, я на минутку только отлучусь», — и вышел. Вскоре возвратился как будто успокоившийся, это и мне передалось, и, хорошо поработав, я закончил сеанс.

Выхожу на улицу. Человек двадцать солдат собирают книги и листы, разнесенные ветром, складывают в стопки, уносят в дом. Спросил одного, что это они делают. Маршал, говорит, приказал собрать и запереть в доме.

«Так вот для чего он уходил с сеанса», — догадался я. На следующем сеансе возник разговор об этом. Георгий Константинович сказал: «Я навел справки, что за человек жил в том доме. Оказалось — член Берлинской академии, крупнейший специалист по Индии. Хорошо, Павел Дмитриевич, что вы позаботились. Миллионы-то гибнут, а добро, народом созданное, надо беречь. Надо!»

— А я подумал, — улыбнувшись, сказал Павел Дмитриевич, — хороший, правильный человек Жуков, *наш маршал*».

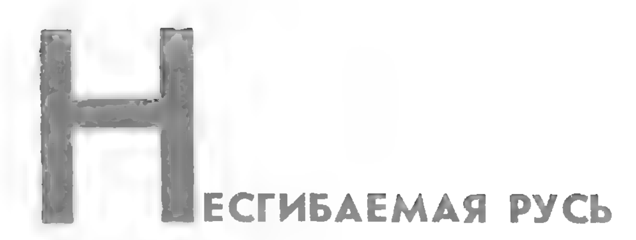
Известно, что Георгий Константинович, посмотрев законченный портрет, одобряюще заметил: «А лицо-то у меня вы изобразили полевое», — и потом пояснил, что такое выражение лица бывает у командного состава на поле боя.

Несколько раз приходилось мне слышать от Павла Дмитриевича, что над портретом Жукова он работал с большим подъемом духа и считал его очень удачным.

В 1965 году, когда отмечалось 20-летие Победы, Павел Дмитриевич рассказывал, как встретили Жукова на собрании Генералитета Советской Армии в Москве, как маршал вошел в зал, несколько задержавшись, как сел, стараясь быть незамеченным, в последнем ряду и в какой экстаз пришли присутствующие, когда председательствующий — маршал Рокоссовский объявил, что на собрании присутствует маршал Жуков.

«Его на руках принесли в президиум и разрешили говорить без регламента. Конечно, все это справедливо, по заслугам», — говорил Павел Дмитриевич.

Из воспоминаний П. Т. КОРИНОЙ.



НЕСГИБАЕМАЯ РУСЬ

Отец не писал войну в ее страшном и натуральном обличьи. Батальные сцены, поля мертвых, торжество победителей не стали темой его картин даже после поездки под Сталинград.

Несдавшийся народ, «упрямая, несгибаемая Русь» — вот чему стремился он найти адекватное образное воплощение в полотнах военного лихолетья.

Мужеством и силой дышат его мужицкие портреты этого времени, особой трепетной нежностью наполнены милые его сердцу пейзажи Прислонихи.

Трагической антитезой предстают перед зрителем тихая жизнь российских просторов и бессмысленное злодейство вторжения, соединенные художником в известном полотне «Немец пролетел» (авторское название). Вот как отец вспоминает работу над картиной:

«...Написал я ее в 1942 г. Жил тогда дома, в своем родном селе Прислониха, верст за 60 от Ульяновска, куда я всю жизнь имел обыкновение приезжать в мае, уезжать в ноябре. Наслышавшись с начала войны о всяких фашистских зверствах над беззащитным населением, я довольно живо стал представлять себе, как бы это могло иметь место и в нашей Прислонихе. Как всякому художнику, мне, естественно, хотелось показать все это изуверство как бы воочию нашему

зрителю. Осень тогда у нас стояла тихая, златотканая, удивительно душевная, теплая. Я люблю осень, всегда испытываю в это время страшно приятное, особое состояние творческого возбуждения. И вот шло что-то непомерно свирепое, невыразимое по жестокости, что трудно было даже толком осмыслить и понять даже при большом усилии мысли и сердца, и что неотвратимо надвигалось на всю эту тихую, прекрасную, безгрешную жизнь, ни в чем не повинную, чтобы все это безвозвратно с лица земли смести, без тени милосердия вычеркнуть из нашей жизни навек. Надо было сопротивляться, не помышляя ни о чем другом, надо было кричать во весь голос...

Надо было облик этого чудовища показать во всем ему вопиющем о беспощадной мести обличьи. Под влиянием примерно таких мыслей и чувств, общих тогда всем нам, русским, стали у меня зарождаться один за другим эскизы на данную тему, и на одном последнем варианте, показавшемся мне наиболее лаконичным и выразительным, я остановился и тотчас принялся писать подготовительные этюды. Эта предварительная работа заняла у меня недели три. Все, что изображено на картине, сделано по очень тщательным этим этюдам, работу над которыми пришлось прекратить из-за начавшегося ненастья и холодов. Саму картину я писал только 5 дней. 4 дня она у меня сохла перед тем, как везти ее в Москву, где я думал по ней перед выставкой пройтись поосновательнее, но я запоздал с приездом и на другой же день, как приехал, я должен был сдать ее на выставку. Картина имела известный успех у зрителя. Сам я ее тоже люблю, душевно она очень меня измучила с момента ее зарождения в эскизе до ее окончательного завершения. Декабрь 1955 г.»

Какой-то особенный лиризм цвета наполняет жизнь его полотен, вопреки грозному голосу войны. Сохранились в переписке строки, посвященные картине «Суббота», которые говорят нам о мировосприятии художника: «...в общем — тот пейзаж, что виден, если идти к речке... четверо бань, сани, лошаденка, накрытая чапаном, через речку — мостки, налево стволы ветел и кустов, холодноватое золотисто-розоватое небо, жемчужно-перламутровый снег и нежное дымчато-розовое с легкими зеленовато-золотистыми тенями пятно тела девушки, темные серовато-теплые силуэты бань, дерюга на санях, золотистая сивка, тускло-зеленоватая с опаловыми переливами вода в речке, кружево ветел — все мне это родное и близкое до последней степени...» (из письма Н. П. Пластовой 31.12.1944 г.)

На примере картины с убитым мальчонкой художник убеждается в силе воздействия пейзажа-образа и последовательно в цикле работ стремится к нему.

Хмурые леса, укрывающие его «Партизан», печальные осенние горизонты над убитым подпаском, необозримость хлебного поля под серебряным светом августовского неба в «Жатве», полный солнца, цветенья трав, шумящий березовой листвой «Сенокос» — всякий раз пластовский пейзаж утверждает жизнь наперекор дьявольскому шествию смерти.

В 1944 году он «вплотную взялся за работу над эскизами и окончательным сбором материала» к «Сенокосу». Работа над картиной продолжалась и в 1945 году:

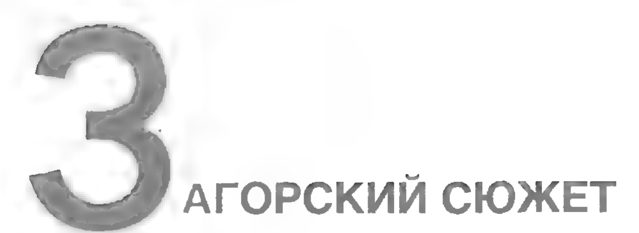
«...Я, когда писал эту картину, все думал: на, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь. Лето 1945 года было преизобильно травами и цветами в рост человека, ряд при косьбе надо было брать в два раза уже обычного, а то, где место было поплотнее, и косу как бы не протащить, и вал скошенных цветов не просушить.

А ко всему тому косец пошел иной: наряду с двужильными мужиками-стариками вставали в ряд подростки, девчата, бабы. Ничего не поделаешь — война. Кто покрепче, был в армии.

Но несказанно прекрасное солнце, изумруд и серебро листвы, красавицы березы, кукование кукушек, посвисты птиц и ароматы трав и цветов — всего этого было в преизбытке.

В конце августа 1945 года я начал вторую картину «Жатва». Писал одну и другую одновременно. Как и многие другие замыслы моих картин, тема «Жатвы»... зародилась давным-давно, в 30-х годах... Как-то в тусклый холодноватый августовский день я, бродя по ржаному полю, набрел на ту приблизительно сценку, какая изображена у меня на картине. В тот же день, вечером, я сделал эскиз в ладонь, на другой день начал рисунки, подкрашенные акварелью, и дней через пять начал картину... Мотив очень соответствовал моему взгляду на некоторые вещи. Передо мной возникла та упрямая, несгибаемая Русь, которая в любом положении находит выход и обязательно решает поставленную историей задачу...» (Из автобиографии).

Н. А. ПЛАСТОВ



ЗАГОРСКИЙ СЮЖЕТ

...Однажды, весной 1945 года, идя по Загорску, Лактионов встретил солдатв в выцветшей запыленной гимнастерке, с перевязанной рукой, опирающегося на палку. В руке солдата было письмо-треугольник. Он посматривал на номера домов и на адрес на конверте.

Лактионов разговорился с солдатом, тот рассказал, что в госпитале познакомился с товарищем по палате и тот просил передать письмо родным в Загорск. Товарищ говорил, что очень давно не получал вестей из дома, не знает, живы ли его родные и получали ли его письма. Лактионов проводил солдата и видел, как ему открыла дверь женщина, на лице ее была радость и надежда.

Художник стоял около этого дома в глубоком раздумье. Вот что надо изобразить — радость встречи с человеком, принесшим письмо от сына, мужа или отца, думал он. Сюжет подсказала ему сама жизнь. Так родилась мысль о создании будущей картины «Письмо с фронта»...

Вспоминая то время, Александр Иванович говорил, что ему «очень везло». Так, во время работы над картиной к нему зашел показать свои этюды местный художник В. И. Нифонтов. Он недавно вернулся с фронта и был в военной форме. Александр Иванович, посмотрев работы и поговорив с ним, попросил его позировать для своей картины. Он согласился. Когда Нифонтову перевязали бинтом руку, дали палку, и он встал на крыльцо, Александр Иванович увидел в нем солдата, натолкнувшего его на эту композицию.

Так же приехавшая к этому времени сестра матери художника Евдокия Никифоровна стала позировать для первопланной фигуры женщины, держащей конверт. Письмо читает сын художника Сережа, которому в то время было 7 лет. Для фигуры девушки-дежурной ПВХО в центре картины позировала соседка. Девочка на первом плане — дочь художника Светлана. Своих натурщиков Александр Иванович писал прямо в картину, они позировали поодиночке, иногда он собирал их всех вместе и проверял композицию картины.

Работал над этой картиной А. И. Лактионов два года, с ранней весны сорок пятого...

«...Работа шла легко, с вдохновением и большим радостным подъемом...», — вспоминал художник.

Картина экспонировалась на Всесоюзной выставке в 1948 году, она явилась началом нового подъема в развитии бытового жанра в советской живописи...

Из записок Д. М. ОСИПОВА.



П. Корин. Портрет Г. К. Жукова. 1945 г.



Н. Пластов. Фашист пролетел. 1942 г.



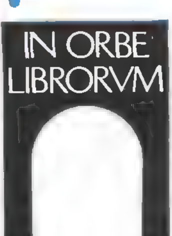
Н. Пластов. Суббота. 1944 г.



А. Лактионов. Письмо с фронта.

Bryan Ferry

Rock



Johnny Rotten

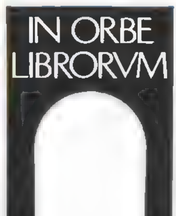
Rock

IN ORBE LIBRORVM



Bob Marley

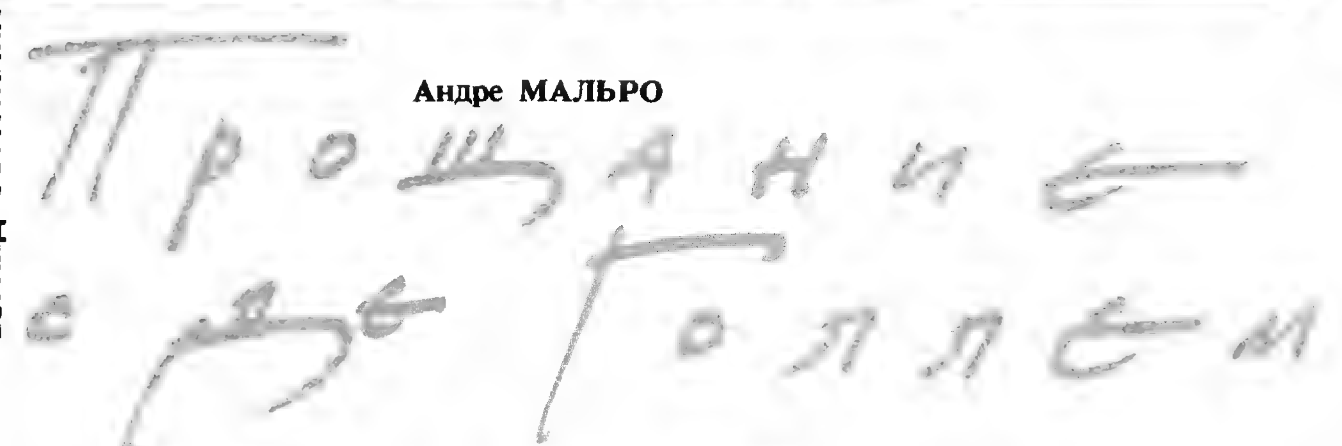
Rock




Mick Jagger
Rock
IN ORBE
LIBRORVM

ВЗГЛЯД СОРАТНИКА

Андре МАЛЬРО



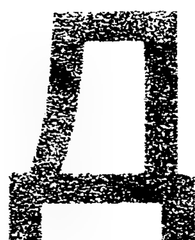


Шарль де Голль и Андре Мальро

Андре МАЛЬРО (1901—1976) — один из ярчайших талантов на французском литературном небосводе XX века — был человеком, о котором слагались легенды. В 20-е и 30-е годы он прославился как автор сенсационных романов о революционных процессах в Китае. Тогда же, в 30-е годы, Мальро активно участвовал в антифашистской политической борьбе, а после франкистского переворота создал боевую эскадрилью и в качестве ее командира отправился служить Испанской республике, о чем впоследствии рассказал в своей книге «Надежда». В годы второй мировой войны Мальро сражался сначала в подполье, позже командовал полком регулярной французской армии. В конце 40-х он вновь оказывается в самой гуще политической жизни: министр пропаганды в коалиционном правительстве в 1948 году; с 1953-го по 1969-й — министр культуры Франции. Он проявлял большой интерес к нашей стране, ее историческим и культурным традициям; не раз посещал Советский Союз.

Кроме романов «Завоеватели», «Королевская дорога», «Условия человеческого существования», «Надежда», «Орешники Альтенбурга», нескольких теоретических работ по искусству, им написан ряд сочинений мемуарного жанра, составивших книгу «Зеркало преддверья», которая содержит галерею интереснейших портретов государственных деятелей, в том числе Шарля де Голля, выдающегося государственного деятеля Франции, одного из руководителей антигитлеровской коалиции, человека сложной и интересной судьбы. В течение многих лет Мальро «стоял» рядом с де Голлем, был его верным соратником.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты эссе А. Мальро о Шарле де Голле, из сборника «Зеркало лимба», готовящегося к печати в издательстве «Прогресс».



е Голль весьма рано столкнулся с оппозицией прессы. Беспрерывно нападая на приписываемый генералу предфашизм и при этом апеллируя к добродетельной демократии и политической морали, газеты в течение многих лет выражали порицание, которое будучи весьма распространенным среди интеллигенции, на настроение населения в целом по стране не влияло и самим генералом во внимание не принималось. Потому что единственной партией, предлагавшей создать альтернативное правительство, были коммунисты, но создать его в одиночку не могли. <...> По существу же альтернатива в серьезных обстоятельствах так ни разу и не представилась. На вопрос: «Что делать?» в смысле действия, ответ всегда был один и тот же: писать статьи.

Интеллигенция практически не прекращала своего диалога глухих, где в качестве аргументов постоянно фигурировали «фашисты» и «ГПУ»! То было совершенно идиотское навязывание доктрин, потому что голлизм, явившийся ответом на кризисную ситуацию во Франции, не имеет ничего общего ни с одной из политических систем. <...> Его недоверчивая мысль не желала отождествляться с какой бы то ни было системой. Ему настолько неприятно само это слово, само это понятие, что в течение долгого времени «системой» он называл парламентский режим. Он гораздо меньше заботился о том, что представляет собой история, государство или же он сам, чем о том, что он должен с этим делать. Ему очень понравилось процитированное мной выражение Будды: «Если ты видишь, что в твоего друга попала стрела, то станешь ли ты размышлять о сущности лука или же вырвешь стрелу?» Он так же хотел власти Франции, как Маркс власти пролетариата, а Моррис власти монархии, но его Франция не была понятием. Его собеседником была не столько история, сколько Общественное спасение.

Победа марксизма состоит, разумеется, не в том, что он обратил в свою веру Запад, а в том, что для стольких жителей Запада он сделал поставленный им вопрос главным, основополагающим. Однако доктрину, даже очень важную, нельзя противопоставлять действию, даже если оно и выглядит как модель. Генерал не превратил свои проблемы, и, в частности, проблему государства, в постулаты: путь к его идеям лежит через принятие его мифа и зачастую на этом и держится. Какая-либо ориентация на марксизм ему чужда. Взгляд на историю как на судьбу напоминает ему исторические взгляды Руссо; будущее представляется ему вовсе не благоприятствующим, а враждебным, и он не верит, что история сама по себе, как бы она ни развивалась, поможет Франции вновь занять в ней и сохранить достойное место. Марксизм отныне заигрывает с таинственным национальным фактором, который генерал считает центральным в нашем столетии, хотя никто еще не определил его контуры. Становление наций по территориальному принципу? Алжир, который никогда не был нацией, становится ею. Станет и Вьетнам, неважно какой. В Африке с трудом идет рождение федерации, а нации прямо кишат. И ни одна нация никогда не считала де Голля своим врагом. Мао-Цзедун назвал мне его имя прежде, чем упомянуть о Франции. Прошлое высветляет национальную позицию коммунистов гораздо лучше, чем настоящее. В 1945 году они хотели аннексировать все направления движения Сопротивления во имя патриотического и либерального коммунизма, подобного Пражской весне. Но какой идиот способен сегодня поверить, что Сталин в 1945 году потерпел бы Парижскую весну? Речь шла отнюдь не о розах, а о настоящем сталинизме, а генерал видел Сталина вблизи.

Не пожелав отдать Торезу и Дюкло ключевые министерства, которых те добивались, он сказал им: «Вы сделали ваш выбор, я же не имею права выбирать». Они увидели в этом обман, но это была сама суть его мысли. В какой мере надеялся он, что в новом государстве ему удастся, если уж не привлечь коммунистов на свою сторону, то по крайней мере установить с ними благодаря франко-советскому договору* определенный modus vivendi? Они шли за ним и в Лондоне, и в Алжире, и в период Освобождения. Правда, не без задних мыслей. Однако Патриотическая милиция была уже распущена, а Восстановление продолжалось...

Он выписал фразу Ленина о том, что всякая революция завершалась усилением власти государства. Ему было известно, как Ленин вслед за Энгельсом и Марксом бичевал государство, поскольку он читал все написанное о государстве. Нередко он смотрел на коммунистов так, как марксист смотрит на идеалистов. История посмеялась то над теми, то над другими. Его перспектива озадачивала их, как все у противника, не укладывающееся ни в рамки капитализма, ни в рамки консерватизма. Но и они тоже озадачивали его. Однажды я слышал, как он спрашивает скорее у себя, чем у Дюкло: «Как будет выглядеть коммунизм через пятьдесят лет?» «Все так же!» — твердо ответил жизнерадостный тулузец. Когда Дюкло ушел, генерал спросил меня: «И он верит в это?» «Конечно: вы же их враг, а то, что они говорят врагу, всегда становится правдой». «Сколько же надо было приложить труда, чтобы разувериться во Франции и в конечном счете поверить в Россию! Впрочем они работают, заставляют работать других, а значит нужны Франции, как и все остальные. <...>

«Мемуары» обязывают обратиться к прошлому. События, соприкасающиеся с легендой, обещают непредсказуемое, отодвигают исполнение судьбы. В этот час генерал де Голль, наверняка, кружит в рамках своей непроницаемой мысли, как и в своем кабинете с опущенными шторами, создававшими барьер между ним и снежной ночью. Размышляет о стечении обстоятельств, о самом себе, о том, что главному суждено воскреснуть. «Мемуары надежды». Он изучил Европу, возникшую после наполеоновских войн. «Когда Франция вновь станет Францией, отправной точкой будет то, что я сделал, а не то, что делается после моего ухода»... В музее Дома инвалидов, на выставке Сопротивления, перед изрешеченным пулями столбом, у которого расстреливали наших бойцов, перед нашими подпольными газетами, генерал, так же, как и я в 1945 году, сказал организатору выставки: «Газеты очень хорошо отражают то, что участники Сопротивления говорили, но слишком плохо то, как они сражались и умирали. Не оставалось никого кроме них, чтобы продолжить войну, начатую в 1914 году: и бойцы Бир-Хикейма**, и бойцы Сопротивления были прежде всего свидетелями». И он тоже. Оставшись наедине с собой в Коломбе, между воспоминаниями и смертью, похожий на вождей палестинских рыцарских орденов перед гробом господним, он все еще остается вождем ордена, называемого Францией. В силу того, что он взял на себя ответственность за ее судьбу? Потому, что на протяжении стольких лет он нес на вытянутых руках ее труп, веря, заставляя верить весь мир, что она жива? Только что, когда он поднял руки перед окном и перед снегом, казалось, что он ее несет: «Это великие похороны». Он пережил тех, против кого сражался: Гитлера, Муссолини, пережил и своих союзников: Рузвельта, Черчилля, Сталина. Пережил, испытывая те же чувства, что и наполеоновские генералы, говорившие

* Франко-советский договор был заключен в 1944 году во время визита генерала де Голля в Москву.

** Бир-Хикейм — местность в Ливии, где в 1942 году французская воинская часть оказала успешное сопротивление немецким и итальянским войскам и, выйдя из окружения, соединилась с англичанами.

в 1825 году: «Во времена Великой армии...» Все эти дружественные или враждебные тени играют на земных просторах своими черными картами, где попадаются и джокеры. Европа в огне, самоубийство Гитлера в бункере, остановившиеся поезда, в знак траура по Сталину долго гудящие в сибирском безлюдье... А может быть, он думает о «великой эпохе», а не о великих людях? О том, как после 1815 года судьба мира подала в отставку. Однако он не утерял веру в непредсказуемое, в игру случая, залогом в которой — Франция. Конечно же, ему не чужды грезы, и, очевидно, он с мрачной гордостью несет в себе одну невысказанную мысль: «Если последний акт того, что было Европой, уже начался, то по крайней мере мы не дали Франции умереть в сточной канаве».

Однако для того, чтобы она поняла, что он хочет ей завещать, возможно требуется нечто большее чем обладать властью, и даже большее, чем отойти от власти, — нужно умереть.

Коломбе,
13 ноября 1970 года

Десять минут спустя после его смерти врач покидает Буассри, чтобы отправиться лечить дочерей одного железнодорожника. Г-жа де Голль просит одного из столяров снять с пальца генерала обручальное кольцо; едва закончив свою работу здесь, столяры должны идти к г-же Плик, муж которой, крестьянин, тоже только что умер... Сегодня, в пасмурный день похорон, я спешу на похоронный звон Коломбе, которому отвечает звон всех церквей Франции, а в моей памяти — всех колоколов Освобождения. Я видел открытую могилу, два огромных венка: Мао-Цзедун, Чжоу-Эньлай. В Пекине над «Запретным городом» траурные флаги. В Коломбе, в маленькой церкви без прошлого соберутся прихожане, семья, Орден: рыцарские похороны. Радио сообщает, что в Париже, на Елисейских полях, по которым он некогда прошел, сверху вниз, из-за спин морских пехотинцев почетного караула снизу вверх тянется молчаливая людская процессия. А здесь, в толпе, какая-то крестьянка в черной шали, похожая на коррезских крестьянок времен войны, кричит: «Почему меня не пропускают! Он сказал: все! Он сказал: все!» Я кладу руку на плечо моряка: «Пропустите-ка ее, ему бы это было приятно: в ее словах сама Франция». Не произнося ни слова, почти не шевелясь, он пропускает ее, и кажется, что он отдает почесть жалкой и верной Франции — женщина, ковыляя, торопится к церкви впереди рычащего танка, везущего гроб.

Елисейские поля

Тень ста знамен скрывает всех, кто их несет, за исключением первого ряда. Все старые промокшие под дождем штандарты, выпрямившиеся в ночи, в тишине, нарушаемой звоном сотрясающихся от медленного шага наград, движутся вперед, как деревья шекспировских лесов. Освещена только Триумфальная арка; река течет во мраке, кое-где разрываемом освещенными окнами редких лавок. Ночь представлена трижды: поздним часом, освещением Триумфальной арки и сгустившимися тучами, образовавшими завесу дождя над людской лавой, сжатой с обеих сторон массивными изгородями из стоящих на тротуарах зрителей. Одни тени смотрят, как текут другие тени. Это не демонстрация — люди, заполнившие из конца в конец авеню, говорят лишь вполголоса. Но это и не похороны — гроба нет. Это траурный марш к Арке, ставшей гробницей, к большой орифламме, которая дрожит в лучах прожекторов, голубые, белые либо красные пучки которых до самых облаков высвечивают в свинцовой тьме капли дождя, подобно тому как лучи солнца невозмутимо освещают вечные атомы.

Репортер «Радио-Люксембурга» с маленьким микрофоном в руке подходит к коллеге. и тот шепчет:

— Ну что они тебе рассказали?

— В основном говорят женщины. Что до мужчин, то многие из них на вопрос: «Вы голосовали за?» посылают подальше! Похоже, голосовали они против, а женщины, те все говорят приблизительно одно и то же: «Мы все ему обязаны!» или «Дождь не дождь, а мы пойдем до конца!» Одна мне сказала: «Бросать цветы, это должно быть идея госпожи де Голль: только женщине придет в голову такое!..» Другая, с «Юманите» под мышкой, — «Я пришла сказать ему: прощай». А одна старушка, бедняжка, которой я предложил: «Дайте мне ваш цветок, я положу его одновременно с моим», ответила: «Не надо: три года в Равенсбрюке, три часа под дождем, выдержу». А ты?

— Я записывал в очередях: около цветочниц фиалками в Шатле, на улицах — везде одно и то же. Совсем маленькие девочки, и те говорят, что запомнят. Одна мне сказала: «Как жаль, что он нас не видит!»

Она ошибается: покойный генерал вслушивается в это молчание, которое беспорядочно мнут сотни тысяч шагов. Здесь его присутствие ощущается сильнее, чем в Коломбе, если не считать того момента, когда женщины из Коломбе подняли на руках детей рядом с выезжающим из Буассри танком. Дождь усиливается. У многих в руках сложенные зонты (раскроют, когда церемония закончится?). Медленно кружатся людские водовороты, выходящие из боковых улиц, из домов, из метро. Ночной марш останавливается. Сквозь дождь пробивается «Марсельеза». Хризантемы, гвоздики, ветреницы, букеты фиалок начинают переходить из рук в руки, в сторону Триумфальной арки. Эти цветы не принадлежат больше никому: земля отдает почести смерти.

Кортеж вновь трогается в путь и шаг за шагом продвигается в глубокой траурной ночи. Погибшие в лагерях женщины, у которых не было иных цветов, кроме тех, что они выращивали для своих палачей, сопровождают этот молчаливый кортеж. Некоторые из них не были голлистками. Мокрые от дождя цветы предназначены всем.

Многие из тех, кто медленно идет сейчас к Арке, во время майской демонстрации в 1969 году были здесь, многие — в рядах их противников на площади Бастилии, многие — были здесь тогда, когда генерал де Голль спускался по Елисейским полям впереди перепачканных губной помадой солдат. Этот кортеж еще глубже уходит в прошлое, чтобы соединиться там с тем кортежем, который отдавал последние почести Виктору Гюго. Поэт в течение двадцати лет говорил «нет» Империи, поражению, репрессиям. Еще глубже в ночи веков можно различить и «нет», у которого нет возраста. Этот кортеж поднимается к Арке подобно тому кортежу в Фивах, что направлялся к могиле Антигоны. И Неизвестный солдат, над которым гневно трепещет пламя, тоже оказывается одним из тех, кто кричал «нет», и все они сменяют друг друга над ночной волной живых, над подземной рекой покойных. Вместе с одетыми в черное женщинами из Корреза, стоящими перед семейными могилами и чествующими убитых оккупантами, погребенных макизаров. Вместе с крестьянами, положившими килограмм драгоценнейшего тогда сахара под деревянный крест наших расстрелянных товарищей. Сколько женщин! Мужчины не умеют нести цветы: как бы далеко ни поднимались мы к истокам нашей памяти, женщин, несущих дар, порой с риском для собственной жизни, всегда больше, чем мужчин. Бухенвальд и Дахау тоже поднимаются к похоронному ковчегу, вместе со всеми их тенями, решившими принять смерть, и даже больше, чем смерть. Наши танкисты, машинистки, прятавшие наши передатчики, сонмы замученных в неволе. Политика в конце концов утратила свой смысл: муниципальные советники коммунисты тоже здесь. Женщины, несущие маленький флаг с лотарингским крестом, отдают половину букета соседкам с «Юманите» в руках, которым не досталось цветов. Речь идет уже не о голлизме и даже не о Франции. Те, кто бредет в дождливой ночи, принадлежат к единому братскому союзу, о существовании которого они узнают от покойного, гроба которого здесь нет. К тому же союзу, к которому принадлежат наши товарищи, выкрикивавшие его имя в момент расстрела.

Служба порядка, без униформы, только с повязками, направляет поток к ковчегу, гораздо более узкому, чем улица. Блестящая от дождя площадь отражает Триумфальную арку. Те, кому пройти дальше не удалось, сложили свои цветы под «Марсельезой» работы Рюда. Кортеж продвигается вперед. Хиппи распахивают свои пончо и извлекают хризантемы. Большое знамя, в котором пытаются спрятаться голуби, наполняет гулкий ковчег своим влажным хлопаньем. Над головами хиппи уходят в тень списки наполеоновских битв, похожие на траурное бдение побед. Живые бросают цветы, а пламя, то опадающее, то вздымающееся вверх, погружает во тьму и вновь освещает их мокрые от дождя лица.

Перевод с французского В. А. НИКИТИНА.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Юрий КОМОВ



Альфред Хичкок



ень следовала за мастером неотступно, не отпускала ни на шаг. На Западе его называли «Шекспиром кинематографа», а советских зрителей им стращали как воплощением свинцовых мерзостей капитализма. Там его, благодаря телевидению, каждый знал в лицо, здесь многие и не слышали это имя. Голливуд рекламировал его работы, отдавал ему своих лучших исполнителей, а наши киноведы говорили о деградации художника, охваченного противоестественной страстью к изображению зловещих фигур преступных маньяков, чудовищ-монстров и прочих вампиров, главных героев фильмов ужасов. Ярлыков было много, но самих произведений мастера у нас в стране почти никто не видел. Лишь в прошлом году в рамках «Золотого Дюка» в Одессе была представлена ретроспектива кинолент режиссера, которому импонировало, что его сравнивали с Эйзенштейном и Пудовкиным, чьи работы он знал прекрасно и увлеченно мог говорить в несведущей американской аудитории об удивительном мастерстве авторов «Броненосца «Потемкин» и «Матери».

Тень считала, что она больше мастера, а стало быть, значительней его, она — его «черный человек». Работы художника по достоинству оценили коллеги, а тень заслонила собой целый зрительский мир, по ней судили о нем даже там, где его никто не видел. Случайные люди склоняли его имя, пускали в ход имевшиеся под рукой этикетки, а он и не ведал о том: продавали тень, она все сносила. И была безукоризненна, как всякое бесплотное создание. А он не укладывался в стандартные рамки. Свои страхи и духовные кризисы мог превращать в мощное, притягательное для масс искусство, при этом постоянно балансировал на грани творческого созидания и подсознательного разрушения. Художник-страдалец и опытный делец, производящий ходкий товар, волшебник сладких кошмаров, маг бессонных ночей, проведенных над леденящими душу повествованиями, и циник до мозга костей, голливудский шоумен и вместе с тем великий мастер, он и в каждодневной текучке, как в искусстве, был абсолютно разным: мрачный тип и обаятельный шутник, романтик и приспособленец, светский человек и застенчивый одиночка. Все слилось в нем воедино — силы хаоса, жестокости мира и вселенского разочарования и идея порядка, порывы доброты и милосердия, творческого оптимистического экстаза.

Когда мастер говорил со мной (до того, вместе с другими, не один час провел я в полных залах, внимавших ему), казалось — тень все время рядом. Она опровергала его суждения голосами тех, кто слышал о нем от дежурных критиков, она спорила как профессионалы и люди случайные, что наконец-то или экспромтом попали на просмотр его картин, она переходила на жаргон киноведов, не желающих и по сей день (когда прошло 90 лет со дня рождения мастера) упоминать его имя, не исполнив предварительно обряд очищения: отринув его мифы, спикировав на его картины-откровения, обозвав их фильмами ужасов, уподобив творчество его известным «проискам реакции». А может быть все проще — не знали его, да и знать не хотим. Джойс, Элиот, Паунд, Оруэлл, Набоков — сколько лет жили без них... и без вашего мастера... И все-таки читали из-под полы, и проходили в университетских курсах как декадентов, космополитов и прочую нечисть. И вот теперь мы в темном зрительном зале, и выходит к нам он (и нет тени — без света), и ведет доверительный разговор.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

7 марта 1979 года Американский институт кино проводил торжественный вечер — чествовали человека, который был удостоен почетной награды, присуждаемой раз в год: «за работу всей жизни». Лауреат (седьмой по счету в истории приза) стал известен еще в августе 1978-го. Съезжались гости — люди известные, кинозвезды и голливудские магнаты, все радостные, оживленные. И только сам он был мрачен, чувствовал себя плохо, накануне даже заявил, что «не желает присутствовать на собственных похоронах». Но уговорили. Через пять дней всю церемонию передавали в записи по телевидению: редакторы поработали на славу. Но и им не удалось скрыть того, каких усилий стоило ему это мероприятие, как в буквальном смысле дотащился, выйдя под камеры, до кресла, как тяжело опустился в него: безмерным грузом давили годы. Рядом была жена Альма, друзья... А вела вечер Ингрид Бергман — давно знаменитейшая звезда, а он помнит ее почти девчонкой, юной шведкой, явившейся в Голливуд с другого континента. Милая Ингрид — она пытается шутить, хочет поднять его настроение, вызвать улыбку, расшевелить: поздно, слишком поздно, и он не желает выходить под юпитеры эдаким бодрячком, пусть видят, что сделало с ним время. Хотя любимый анекдот-быль он все-таки им расскажет, этот эпизод и пойдет в эфир для миллионов телезрителей, так полюбивших его страшные — бр-р — на ночь глядя рассказанные истории: вздрагиваешь от каждого стука, скрипа двери. Так вот — свой первый страх, ужас безмерный, испытал он в шесть лет, когда, набедокурив, был наказан отцом весьма странным образом. Родитель послал его в полицейский участок с запиской к дежурному, в которой содержалась просьба посадить негодного мальчишку для острастки под замок. Провел он в одиночке минут 10—15, но такое помнится всю жизнь...

Алфред Джозеф Хичкок родился 13 августа 1899 года, третий ребенок в семье зеленщика из лондонского Ист-Энда. Предки-католики к аристократии вовсе не принадлежали и к искусству отношения не имели. Дед с трудом расписался на брачном свидетельстве, бабка и свидетели поставили крестик.. Сына Уильяма воспитали в строгости. И когда он сам обзавелся семьей, нравы в ней сохранил привычные. Каждый вечер перед сном дети исповедовались у постели матери в своих дневных прегрешениях. Чувство неизбывной вины сопровождало Алфреда Хичкока с детства (кстати, мать хотела знать все его тайны, продолжала читать нравоучения и тогда, когда стал совсем взрослым). И каждое воскресенье — обязательное посещение церкви: страх перед безумным и яростным миром усугублялся потенциальной карой божьей за непокорность и содеянное всуе. Молчаливым и замкнутым рос ребенок, товарищами детских шалостей не обзавелся — привык быть дома, много читал, книг разных и познавательных. В 1910-м оказался в колледже Св. Игнатия, открытого отцами-иезуитами в конце XIX века. Послушание в стенах этого строгого учебного заведения почитал неизбежным, но, помимо богословских трактатов, жадно глотал Шекспира, Дефо, Диккенса, Скотта.

Шла первая мировая война. Умер отец. Надо было зарабатывать на жизнь. С 1915 года служил мальчиком на побегушках в телеграфной компании. Когда появлялось свободное время, ходил в кино — особенно нравились ленты известного американского режиссера Дэвида Гриффита (1875—1948): «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги». Поражали неограниченные возможности нового, набирающего силы вида искусства, волновали воображение сцены и видения необычных действ и картин.

За книги садился при каждом удобном случае: круг авторов расширялся — Д. Г. Лоренс, Вирджиния Вулф, Джеймс Джойс, и «Портрет художника в юности», и «Миссис Дэллоуэй», и «Сыновья и любовники» приводили в восторг. Романы Стивенсона, Честертона, Флобера захватывали, Байрон и Вордсворт воодушевляли. Благоговейно преклонялся перед Эдгаром Алланом По. Через всю жизнь пронес увлечение работами мастера мистификации, гротеска и пародии на кошмары готических романов.

Уже овладев всеми приемами триллера, особого вида фильмов, вызывающих у зрителей активное сопереживание, сильные эмоции, развивая жанр, Хичкок говорил: «Уверен, что По занимает в мировой литературе особое место. В нем уживаются романтик и представитель современной литературной волны». Хичкок и сам находился как бы между двух огней — его атаковали злые демоны и добрые духи, коварные привидения и простодушные тени.

Над первыми лентами — «Сад удовольствий» (1925), «Горный орел» (1926), «Жилец» (1926) — работал вместе с милой коллегой, кинoредактором Альмой Ревиль. В 1926-м они поженились (и останутся вместе до конца). Свадебное путешествие во Франции и Швейцарии... и вновь работа, фильмы шли чередой — и каждый проект захватывал. Угнетал лишь контроль со стороны администраторов. Иногда зло срывал на членах съемочной группы. Выливалось это, правда, не в крикливые разгоны или жестокие капризы, проявлялось в

довольно оригинальной форме: неутомим был на розыгрыши, объектом его странных шуток мог стать любой — чудачество это стало «второй натурой». Мог организовать доставку на квартиру сотрудника, хвастававшего приобретенной электроплитой, двух тонн угля, мог прислать в подарок актрисе, вместо цветов и драгоценного сувенира, живую старую клячу, мог пригласить коллегу на маскарад в дом, где давали в тот вечер официальный прием. А бедняге-оператору, с которым поспорил, что не проведет он благополучно ночь в пустом павильоне, дав приковать себя к камере, успел незаметно подсунуть слабительное: конфуз был жуткий. Дурачился Хичкок откровенно и от души. Иногда и в работах своих делал то же. Подобных грубых шуток, впрочем, избежали знакомые писатели, с которыми поддерживал тесные отношения, — почтенные Джордж Бернард Шоу и Джон Голсуорси. Они не раз были гостями загородного дома в Винтерс Грейс, который чета Хичкоков приобрела почти сразу после свадьбы. Там было уютно и тихо. Альма ждала ребенка, это Хичкока слегка раздражало, но дивные окрестные пейзажи снимали напряжение. Дочь родилась в июле 1928-го.

Через год — почти запланированный успех очередного проекта: в уголовной драме «Шантаж» в полной мере использовал возможности звукового кино. Последовавшие затем картины «Человек, который слишком много знал» (1934), «39 шагов» (1935) упрочили авторитет Хичкока у критиков и популярность у зрителей: с чьей-то легкой руки стали величать его «Буддой британского кино». Именно тогда начал вырабатывать свой почти канонический образ-маску: «невозмутимый маэстро мрачных эстетизированных кошмаров». Во всех лентах английского периода творческой деятельности Хичкока прослеживается интересная закономерность, которая станет доминирующей в его американских работах: все крупные и мелкие экранные конфликты, раскрываемые им, детективные схватки и коварные планы легко вписывались в довольно традиционную теорию борьбы за выживание: только Хичкок, как правило, ставил в центр картины конкретный эпизод, а не всемирные волчьи законы.

И логика его как художника была проста: на свете происходят вещи самые невероятные, и мы не можем закрывать на это глаза, а стало быть — обречены жить с сознанием того, что в любой момент каждому представится случай (независимо от желания) стать не только свидетелем, но и непосредственным участником страшных катастроф и необъяснимых катаклизмов. Впрочем, Хичкок мрачными апокалипсисами не злоупотреблял: давно замечено, если сосредоточимся лишь на мысли о выживании, станем думать о том постоянно, бояться, что грянет с неба кирпич и разлетится все в прах, — долго вряд ли протянем. Но почему же спешат тогда люди в темный кинозал, где ждут их кинематографические ужасы Хичкока, хотя с реальными им не сравниться?

Одна из причин парадокса установлена определенно: люди знают, что кино — «безопасно», что события в фильме вымышлены, хотя и соотнесены с окружающей действительностью. Убийца, насильник, вор, шпион — все это люди реальные и даже осязаемые, но на экране они — лишь образы. И стало быть, сопереживая нафантазированные авторами были-небылицы, зритель как бы становится участником увлекательной игры, где жизнь ему гарантируется, а крупные неприятности происходят понарошку. Но нервы любая кинематографически «нестандартная» ситуация щекочет как взаправду. Именно такое эскапистское кино проповедовал во все времена официальный Голливуд, к этому стремились умные деловые люди. И вот потому-то, поняв свои большие возможности и уяснив цели, признанный в Англии «режиссером номер один» Алфред Хичкок еще в 1937 году совершил вояж в Соединенные Штаты, о жизни которых имел весьма приблизительное представление, познакомился с положением дел на месте, провел соответствующие переговоры, а в 1939-м, продав недвижимость, навсегда перебрался за океан.

Америка встречала восторженно, почитателей его таланта оказались толпы. Выгодное предложение о сотрудничестве поступило от Дэвида Селзника, крупного голливудского дельца и продюсера таких известных лент, как «Кинг Конг», «Дэвид Копперфилд», «Анна Каренина». Первой американской картиной Хичкока стал фильм «Ребекка» по роману Д. Дю Морье, право на экранизацию которого приобрел Селзник. Режиссер был готов приступить к работе над проектом незамедлительно, но Селзник вынудил Хичкока сделать длинную паузу. Продюсер был так увлечен своей грандиозной идеей осуществления экранизации романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (фильмом, вошедшим в сокровищницу мирового киноискусства), что отложил все текущие дела: ему было просто не до Хичкока. Проходили дни — читал на досуге лекции по истории театра, поражал своими фундаментальными знаниями в этой области. Затем отправился с семьей в курортное местечко Сан-Вэлли, где познакомился с Эрнестом Хемингуэем, который только что вернулся из Испании и заканчивал «По ком звонит колокол». «Папе» Хэму ленты Хичкока нравились всегда: он ценил английский юмор и то, что режиссер не забывал о нем в фильмах по сути своей мрачных и трагических. Хемингуэй, не раздумывая, предложил Хичкоку рассмотреть возможность экранизации его нового произведения. Но Хичкок осторожно ответил, что в политику не ввязывается и ничего в ней не понимает. Так закончилась первая встреча. Через четыре года, увидев «По ком звонит колокол» на экране, Хичкок возобновит контакты с писателем, они выразят намерение «сделать что-нибудь вместе», хотя планам этим так и не суждено будет осуществиться.

ФЛАЖКИ НА СНЕГУ

Америка жила своей жизнью, а в Европе бушевала война. В Голливуде стали появляться ленты, в которых художники не только пытались осмыслить происходящие события, но и показать, какую угрозу представляет фашизм. В работах Хичкока этого периода, однако, вопросы политики отступали на второй план — детально разрабатывались психологические коллизии. Антифашистские мотивы возникали и в мелодраме «Иностранный корреспондент» (1940), и в драме «Спасательная шлюпка» (1943), и в детективе «Дурная слава» (1946), но они не стали главной темой. Эта своего рода «нейтральная позиция» одного из известнейших английских режиссеров, работающих за океаном, стала вызывать нарекания у его соотечественников. Хичкока обвиняли в отсутствии патриотизма в тяжелую для Англии годину. Утверждали даже, что он «дезертировал» в Америку.

Над сценарием фильма «Спасательная шлюпка» работал вместе с Джоном Стейнбеком, знаменитым автором «Гроздьев гнева», этой американской народной эпопеи. А вот Хемингуэй, которому Хичкок, памятуя старую договоренность, предложил встретиться в Майами и обсудить проект, отказался, времени не было. Хемингуэй в 1942—1943 годах был поглощен охотой за немецкими подводными лодками, крейсировавшими неподалеку от кубинского побережья. Его знаменитый катер «Пилар» переоборудовали, снабдили звукопеленгаторной аппаратурой и вооружением, включавшим глубинные бомбы: писатель вел на море свою «личную» войну с фашистами. Хичкока это задевало: в 1944-м, наконец, отправился в Англию и он, пробыл там всего три месяца, но успел сделать два короткометражных фильма об участниках французского Сопротивления. Этим вроде и ограничилось.

И лишь спустя 40 лет, в феврале 1984 года, в Лондоне состоялся первый просмотр работы Хичкока, которая была, по решению ведомств США и Англии, ранее запрещена... На том сеансе в аудитории военного музея британской столицы присутствовало всего 15 человек — официальные лица, ученые, писатели: им была продемонстрирована одна из самых страшных картин, которую когда-либо видело человечество. У этого фильма нет названия, он значится лишь под архивным номером F3080. Те, кто работал с копией, однако, окрестили ленту: «Воспоминания о лагерях», 55-минутная работа о зверствах нацистов.

Вводные кадры — немцы экзальтированно приветствуют фюрера, а затем, сразу, без перехода, — апрель 1945-го: документальные съемки двух американских операторов-сержантов Майка Льюиса и Билла Лори в концлагерях, Хичкок собирал картину воедино как режиссер и редактор. То, что происходит на экране, не поддается описанию. Вот что говорит Льюис, ныне живущий в Австралии: «О первом лагере нам сообщили сами немцы — они боялись, что заключенные разбегутся и возникнет эпидемия. За колючей проволокой ходячих, впрочем, осталось не так много. На земле лежали 10 тысяч трупов. После освобождения еще 13 тысяч умерли от голода и тифа. Был там и доктор-эсэсовец по фамилии Кляйн, он давал нам интервью, потом его повесили. Бывшие охранники копали ямы и сносили тела, трупный запах был невыносим».

Когда Хичкок, вместе с англичанином-редактором Питером Таннером, приступил к работе, доставили новые киноматериалы — из Дахау, Бухенвальда, Аушвица и других печально известных мест. Мастер триллера трудился, объятый ужасом, — потом все сдал в «фонды»: кто конкретно запретил демонстрацию картины, теперь не установить — две папки с соответствующей документацией из британского архива исчезли. По аналогии — можно лишь констатировать, что случилось примерно то же, что и с одной из военных лент американского режиссера Билли Уайлдера, когда цензоры вырезали 10 минут «нацистского ада»: по их мнению, аудитория подобных реальных ужасов выдержать не могла — это вовсе не развлечение в духе мастеров триллера. «Неизвестный Хичкок» лег на полку, работа, оказавшаяся под запретом, исчезнувшая на десятилетия, вернулась к зрителю неожиданным образом: в 1984-м ленту показали на Берлинском фестивале. В ученых трудах об этом эпизоде пока не прозвучало ни слова.

В том же 1945-м Хичкок работал в Голливуде над картиной «Завороженный», в которой охотно использовал азы фрейдовского психоанализа. Это было началом новых обширных планов, которые прослеживались потом в фильмах «Веревка» (1948), «Психоз» (1960), «Марни» (1964) и других. Хичкок настоял, чтобы в работе над художественным оформлением «Завороженного» принял участие Сальвадор Дали. Около сотни рисунков гениального художника, пять полотен, написанных маслом, фигурировали на экране, словно окаймляя сцены ритуальными символами. Режиссера уже тогда, как он сам утверждал, любая страшная история интересовала вовсе не как расследование (кто это сделал), а как психологический этюд (когда собирается тип, его интересующий, совершить преступление, что движет этим человеком, почему он теряет над собой контроль) — и не стоит делать из этого тайны: такое возможно с каждым. Злодеи в его изображении часто — сами жертвы, и жертва — зритель, ибо воспринимает происходящее, словно соучастник: он готов разделить вину, если хватит воображения и характера. Мастер обкладывал зрителя со всех сторон, красные флажки на белом снегу вели только под его выстрелы. И зритель, пометавшись, запутывался и, очарованный, обманутый, околдованный, опутанный, шел след в след за предыдущей жертвой. Умение Хичкока убедительно показать раздвоение личности, неоднозначность поведения людей неоспоримо. Он блестяще использовал эффект неожиданных сюжетных перестроений, изящно трансформировал своих персонажей.

Фильм «Дурная слава» простотой сюжета тоже не отличался: это история женщины, которая вовлечена любовником в борьбу против нацистов, хотя действие разворачивается в... Бразилии. Получив задание, она выходит замуж за немецкого шпиона. Тот, правда, вскоре догадывается о ее «миссии» и начинает, вместе с матерью-садисткой, медленно отравлять бедняжку. Но американский агент, ради кого она пошла на муки, успевает к счастливой развязке. «Весь фильм, — вспоминал сам Хичкок, — был задуман как любовная история... это картина о человеке, который заставляет женщину лечь в постель с другим мужчиной, потому что так надо для дела... политика меня при этом не интересовала»... И оказалось, что это еще не все метаморфозы с обычным, казалось бы, проектом. По сюжету необходимо было продумать, почему действие происходит в Латинской Америке, что нужно там всем этим людям и агентам.

В первом варианте речь шла о месторождении изумрудов, вокруг которых и разыгрывались все страсти. Но потом Хичкока осенило: «А что если это уран!» Продюсер Селзник, прочтя новую сценарную версию, выразил недоумение: уран, который тайно перевозят в винных бутылках? Хичкок ответил, что мало в этом смыслит, но знает, что уран не менее редок, чем изумруды, и так же нестабилен, как окружающий нас мир. К тому же все вокруг говорят, что атомную бомбу когда-нибудь сделают. А шел 1945 год: и хотя Селзник полагал, что подобная версия — для дураков, Хичкок оказался провидцем: бомба была взорвана — и весь мир узнал об этом. Да более того — подтвердилась и другая догадка: тысячи недобитых фашистов нашли себе прибежище в Южной Америке... Об этой истории («новой тайне Хичкока») потом много писали, а в 1975 году в Лос-Анджелесе мне довелось услышать ее из уст самого Хичкока: он утверждал, что его сценарная разработка так напугала ФБР, что за ним установили слежку, а на студию даже прислали официальное предупреждение — впредь всякая лента о деятельности американских разведчиков должна проходить цензуру госдепа и соответствующих учреждений. Одно время мастер чувствовал себя не вполне уютно — ведь к тому времени он даже не удосужился еще стать гражданином США. Рассказывал, конечно, все это с юмором, Хичкок давно превратил историю в эстрадный анекдот, но тогда было не до смеха, впрочем — обошлось.

ПРИДВОРНЫЙ ШУТ

В 50-е к Хичкоку пришла международная слава, и в Голливуде он обрел непререкаемый авторитет. Фильмы свои снимал теперь, путешествуя по всему белому свету, — Канада, Марокко, Япония, Италия. Калейдоскоп стран, лиц, вереница картин: драмы, трагикомедии, все вперемешку, причудливая смесь страха и иронии — «Незнакомцы в поезде» (1951), «Я исповедуюсь» (1952), «В случае убийства набирайте «М» (1953), «Окно во двор» (1954), «Неприятности с Гарри» (1955), «Не тот человек» (1957), «Головокружение» (1958), «К северу через северо-запад» (1959) — длинный список. И за каждым фильмом изнурительная работа, актерские судьбы.

Грейс Келли, прежде чем выйти замуж за князя Монако Ренье III, сыграла в нескольких картинах Хича. Во время съемок последней («Поймать вора», 1955) она и познакомилась со своим будущим мужем. Хич ревновал, он всегда пытался держать своих исполнительниц под абсолютным контролем, даже их интимные дела были ему не безразличны. Но Грейс считала Хича своим учителем в жизни и кинематографе, была ему благодарна. Не раз приглашала погостить в ставшем ей домом карликовом европейском государстве — ее трагическая гибель в автомобильной катастрофе в 1982 году оборвала эту яркую биографию. Ширли Маклейн его помощники нашли на Бродвее, в одном из шоу — ей было 20, он ввел ее в мир кино: тогда юной актрисе еще и не снилась встреча с Н. С. Хрущевым, посетившим Голливуд.

Актрисы приходили и уходили, а его самого занимали планы грандиозные, кино казалось мало. С 1955 года пошли по американскому телевидению знаменитые получасовые (впоследствии часовые) программы «Алфред Хичкок представляет» — более 10 лет продолжался марафон «историй на сон грядущий»: каких только кошмаров не было в его «ночных галереях». Параллельно стали выходить антологии Хичкока, литературные сборники, произведения для которых отбирал он сам, затем появился на свет его «Журнал тайн», от подписчиков не было отбоя. И главная тема звучала все сильнее: мотивы исступленного поиска своего «я», голоса, воспевающие общую неизбывную вину, сливались в мощно звучащий хор, проговаривающий речитативом текст о постоянной борьбе личности, раздираемой противоречиями.

В самой известной картине Хичкока «Психоз» (1960) фрейдистский конфликт между сознанием и бессознательными влечениями нашел наиболее яркое воплощение. В основе экранизации романа Роберта Блока — «незамысловатый» сценарий: чтобы составить свое счастье и выйти замуж за, увы, бедного любовника, героиня решается на преступление, она похищает крупную сумму денег и бежит из родного города. Застигнутая ночью в дороге, останавливается в пустом мотеле, владелец которого — одинокий молодой человек с большими странностями: временами он воображает себя матерью, жестоко тиранившей его, и ревнует «сына» ко всем окружающим.

Героиня понимает нелепость своего поступка, в краже ее уличат непременно — слишком много свидетелей этого неумело совершенного преступления. Все время была она словно во сне, не отдавая отчет в своих действиях. Вот пройдет ночь, думает она, стоя под душем и как бы смывая тяжкий грех, взятый на душу, и вернется она домой, и покается, потому что жить с этим невозможно. Но не суждено исполниться ее благим намерениям: поднимается и опускается резко вниз — несколько раз — рука с ножом. И на экране, крупным планом, — кадр, ставший классическим апофеозом режиссера Алфреда Хичкока: сток, куда уходит вода, смешанная с кровью, звук засасывающей эту жидкую смесь воронки. «Мать» совершила возмездие, приревновав «сына», лишь несколько минут назад украдкой наблюдавшего за раздевавшейся молодой женщиной. Хичкок не только повергал свою аудиторию в шок, но и превосходно обставлял соответствующими ша-

манскими атрибутами церемонию сладостного (с замиранием сердца) погружения в кошмар. Сам он говорил: «Не стану скрывать, что для меня картина «Психоз» — это лента, которую делал, получая истинное наслаждение. И, безусловно, такой фильм — развлечение, это галерея ужасов в парке веселых аттракционов».

И, добавим, это зеркало, отражение личности, сотканной из кричащих противоречий. Но, тем не менее, при всем многообразии сюжетов произведений Хичкока в них прослеживается внутреннее единство — отношение автора к окружающему странному и жуткому миру. Алфред Хичкок — это не Микеланджело Антониони, «поэт отчуждения и некоммуникабельности», давший блестящие картины трагического одиночества человека, картины, фиксирующие малейшие движения скорбной души. Хичкок — не Ингмар Бергман, герои которого испытывают глубокое отчаяние в моменты духовных кризисов, когда в сознании стирается грань между реальностью и химерами, верой и безверием. Хичкок — не Бернардо Бертолуччи с его фрейдистскими мотивами «Последнего танго в Париже» и «Луны», фильмов, подчеркивающих разобщенность людей и выдвигающих на первый план скептически негативную концепцию мира и человека. Но символика мастера триллера не беднее, чем у признанных корифеев кино.

Вклад, который сделал Хичкок в развитие выразительных возможностей киноискусства, переоценить трудно, он оказал огромное влияние на творчество американских и западноевропейских кинематографистов. Об этом писали и будут еще говорить. Опытом он делился не часто, но щедро.

В 1963 году будущему известному режиссеру Питеру Богдановичу, в то время начинающему кинематографисту, удалось взять у него пространное интервью, беседовали три дня — впервые тогда узнали хоть что-то о Хичкоке, помимо его фильмов (хотя сам он иногда называл свои работы «записными книжками», дневником исповедальным). Человек по натуре не общительный, Хич раскрывался перед собеседником редко. Но уж если начинал вести речь не мастера, но человека, как все, — секретов не держал. Другой знаменитый режиссер, Франсуа Трюффо, «допрашивал» его в 1967-м 52 часа — и тоже потом написал книгу. А первая биография — «Гений тьмы: жизнь Алфреда Хичкока» — появилась лишь в 1983 году: Доиальд Спото, теолог и автор исследования под названием «Искусство Алфреда Хичкока» (1976), нарушил табу, которое сам мастер наложил на свои жизнеописания, — интервью давал, но о личном предпочитал помолчать. К тому же он, обожавший всяческие тайны, и свою персону окружил атмосферой секретности. Зачем кому-то знать, что свое богатое воображение питает собственными мечтами и страхами, но при этом понимает, что не одинок, что рядом, с таким же, как он, происходит примерно то же.

Будни и праздники, смех и слезы, водевили и маленькие трагедии — полный репертуар. По Хичкоку, кстати, «драма — это сама жизнь, только наиболее скучные ее эпизоды вырезаны». Работая в индустрии развлечений, мастер стал выразителем наиболее классической голливудской формулы успеха: используя возможности киноискусства, показывать обыкновенного человека в экстремальной обстановке. Постулат этот Хичкок, однако, развил и усовершенствовал: коммерческие его ленты становились произведениями искусства, ибо он пришел к пониманию того, что зрители вовсе не хотят, чтобы некий заурядный злодей, гримасничая страшно, с ходу бросался на них, демонстрируя свою кровожадность. «Они желают, — говорил он, — видеть нормального человека со всеми его слабостями». И он щедро предоставлял своим почитателям такую возможность.

Строил оригинальные планы и соглашался работать по стандартным проектам — слыл лояльным работником американской кинопромышленности. И все-таки, говорит близкий друг Хичкока Сэмюэль Тейлор, «Голливуд никогда не знал по-настоящему этого великого художника. Весь цинизм «фабрики грез» в том, что кино там никогда не считалось искусством. Хич все это прекрасно понимал, но держал в себе: как же больно было осознавать такое... Но Голливуд продолжал делать из него своего придворного шута».

НОЧЬ КОРОТКА

Время брало свое — отпраздновал 75-летие, но все-таки довел до конца еще один проект. Летом 1975 года состоялись предварительные просмотры его последнего фильма «Семейный сюжет». Мне повезло — я оказался в то время в Калифорнии, попал на картину, которая вышла на большой экран лишь в апреле следующего года, и вновь слушал Алфреда Хичкока целое субботнее утро на встрече, организованной инициативными преподавателями колледжей, жителями Беверли Хиллз и Орэндж-каунти, живописных уголков Большого Лос-Анджелеса. Мастер вышел к народу неспешным семенящим шагом, неловко и осторожно неся свое грузное тело. Выразительно произнес — «Добрый вечер»: за окнами сияло яркое солнце, в зале яблоку негде было упасть, но от этого приветствия, тысячи раз звучавшего из его уст с экранов телевизоров (перед «сеансом кошмаров»), мороз пробирал по коже. А он мило беседовал, шутил, отвечал на вопросы...

Его последнюю ленту предлагали назвать «Нечто из Хичкока», но «Семейный сюжет», так он считает, звучит интригующе. Да и это «наиболее веселый» его фильм — «комический триллер». Теперь, к сожалению, почти разучились владеть этим жанром. В США литературный триллер не считается престижной работой, как в Англии, во времена, скажем, Уилки Коллинза. Впрочем, хорошая литература вовсе не обязательно становится блестящим фильмом. Каждый раз — это риск, это работа с нуля.

Насилия на экране он всегда избегал (!), обратили ли внимание, что «даже «Психоз» сделал в черно-белом варианте, дабы не снились потом цветные кошмары». Да, в одной из недавних работ, ленте «Исступление» (1971) о респектабельном сексуальном маньяке-душегубе, есть неофрейдистские мотивы. В разработке сценария фильма почти согласился сотрудничать В. В. Набоков, но после долгих переговоров писатель все-таки отказался: его самого в новом герое волновало «социальное бессознательное», он хотел рассмотреть существование этой личности лишь как миф, иллюзию, некое связующее звено между искаженными или фантастическими образами. Но нет, он не стращал: всегда старался соблюсти такт и грубо не пугать. Помучить, продлить кошмар — да. Но к зверствам в своих произведениях никогда не призывал, хотя с удовольствием исследовал преступные характеры, неординарных типов. Читает ли собственные сборники страшных историй? Нет, теперь, на склоне лет, отдает предпочтение биографиям интересных людей. Глядя в «волшебное зеркало», что видит в будущем, какой кинематограф, ну, скажем, лет через пять? Предсказывает бурное развитие видеотехники, будут смотреть его ленты дома, но и в театры ходить не перестанут. И, наконец, подводящая итог беседы, «нетактичная» записка: «Скажите, это последний ваш фильм?» И бодрый ответ под аплодисменты зала: «Нет, не последний, ведь я все тот же «мальчик-режиссер» (так называли Хичкока в далеком 1926-м)... Но, к сожалению, ошибся мастер, «Семейный сюжет» подвел черту его творческой биографии. Оставшиеся годы жизни, хоть и пролетели как одно мгновение, были самыми трудными, словно никак не могли кончиться.

Музей искусств в Лос-Анджелесе организовал ретроспективный показ всех до единой его картин — зал не вмещал всех желающих увидеть произведения художника-легенды, при жизни признанного классиком. В штате Массачусетс один из дней праздновали как день Алфреда Хичкока... а он, устав от чествований, думал о том, что слава в конце жизни — только бремя, здоровья не вернуть: работу сердца уже давно поддерживал стимулятор. Призы и почетные награды ему спешили вручить один за другим, словно боясь опоздать, а он то злоупотреблял своим любимым ликером «Куантро» на торжественных обедах в его честь, то вполне серьезно утверждал, что любимые его темы — это еда, напитки, голливудские слухи и лишь потом кино (именно в таком порядке), то впадал в полную депрессию. Все откладывалась и откладывалась работа над новым проектом под условным названием «Ночь коротка».

Дома его старалась отвлечь, как могла, жена, изредка навещала дочь. В августе 1979-го ему исполнилось 80 лет: английская королева сделала его кавалером ордена Британской империи — 3 января 1980 года в его офисе на студии «Юниверсал» консул вручил сэру Хичкоку награду Ее Величества. Всю церемонию он просидел в кресле, погруженный в раздумья, словно дремал с открытыми глазами. 16 марта его еще снимали для телевидения... Алфред Хичкок скончался 29 апреля, утром — тихо и покойно... Но тень мастера (тот самый черный человек) осталась жить...

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Григорий Распутин.

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ РАСПУТИНА

«Необходимо нечто большее, чем талант, чтобы понять настоящее, нечто большее, чем гений, чтобы предвидеть будущее, а между тем так просто объяснить минувшее». Слова эти принадлежат великому польскому поэту Адаму Мицкевичу, и вряд ли, думаю, найдется человек, который без тени сомнения взялся бы их оспаривать.

Объяснить минувшее — далекое и близкое! Действительно, что, казалось бы, проще! Надо лишь знать все без утайки, нужно лишь сопоставить мнения как можно большего числа участников и очевидцев тех или иных исторических событий. И тогда из разноголосья порой противоречивых свидетельств проступят сначала робкие контуры подлинности, которые, по мере накопления документов и фактов, постепенно превратятся в истину. Именно она является той составной, без которой едва ли возможно что-либо объяснить.

В последние годы мы все сделали энергичный шаг в поисках правды. Правды о нашем прошлом. Однако, как ни печально, но обнаружилось, что многие просто-напросто разучились самостоятельно оценивать минувшее, а скорее всего, никогда не учились этому. Слишком уж долго всех нас держали на голодном пайке, засекретив печатное слово, сковав его стальными прутьями специальных архивов и закрытых фондов. А дежурные толкователи тем временем трудились в поте лица, разъясняя народу его былое.

Много, очень много существовало тайных страниц, белых, как мы их сегодня называем, пятен в нашей истории — не только послеоктябрьского периода, но и истории более ранней. К таким белым пятнам можно, в частности, отнести все, что связано с личностью Григория Распутина. Предвижу пылкие возражения: А роман В. Пикуля «У последней черты»? А книга М. Касвинова «Двадцать три ступени вниз»? А, наконец, фильм Э. Климова «Агония»?.. Все верно. Более того, нельзя не согласиться с утверждением о том, что писатель В. Пикуль является, если так можно выразиться, современным художественным первооткрывателем периода распутинщины, равно как многих других исторических событий, в деталях известных прежде разве что узким специалистам. То же самое следует сказать и о режиссере Э. Климове — как о первооткрывателе «мистика» и «исцелителя» посредством кино. И надо признать, что когда речь заходит о Распутине, большинство из нас видит перед собой обаятельного актера Алексея Петренко, блестяще сыгравшего роль царского фаворита, а отнюдь не реального «старца», и даже не литетурно домысленного — из произведения В. Пикуля. Исторически верно Распутин изображен в основанном на документах исследовании М. Касвинова, где использован, среди прочего целый ряд источников, советскому читателю практически не доступных. Например, воспоминания директора Департамента полиции С. П. Белецкого, озаглавленные «Григорий Распутин»; архив тибетского врача П. А. Бадмаева; воспоминания наставника цесаревича Алексея П. Жильяра «Император Николай II и его семья»; интимный дневник фрейлины ее величества А. Вырубовой и т. д. Некоторые книги выходили у нас в двадцатые годы, большинство же — опубликованы на русском языке только за рубежом. К последним относятся воспоминания купца 1-й гильдии, личного секретаря Распутина Арона Симановича, написанные автором в годы послеоктябрьской эмиграции.

В свидетельствах очевидцев перед читателем предстает не просто грязный развратник, кликуша и магнетизер, проводящий время в постоянных кутежах; они, эти свидетельства, дополняют портрет «старца», раскрывая степень его причастности к государственным делам, к управлению царской Россией. И все это — на фоне морального, духовного и политического падения монархии, принявшего формы трагической вакханалии. Собранные вместе, записки очевидцев не деполитизируют царского фаворита, что легко можно было бы сделать, оставив на его счету главным образом гипнотические сеансы, сладкую мадеру и соблазненных светских дам. Напротив, они оглашают неопровержимые факты того, что Распутин являлся негласным членом императорского триумвирата, великим, как говорят на Востоке, визирем.

Старая Россия, по В. И. Ленину,— это страна Николая II и Распутина. Дореволюционную верховную власть Владимир Ильич называл «шайкой жалких, полоумных людей, как Романов и Распутин...» В «Письмах издалека» В. И. Ленин клеймил «цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее...»

Да, во главе ее! «Старец» с неимоверной легкостью жонглировал, например, самыми высокими должностями и постами. По его совету председателем Совета Министров был назначен И. Л. Горемыкин, затем Б. В. Штюрмер, и уже после смерти Распутина, но рекомендованный им Н. Д. Голицын; им был возведен А. Н. Хвостов в министры внутренних дел; позже по его настоянию эта должность была предоставлена А. Д. Протопопову; он провел В. А. Сухомлинова в военные министры; он устранил с этого поста А. А. Поливанова... Только за годы войны «старцем» были назначены и смещены около двух десятков министров. Не гнушался он и взятками: за определенную мзду брался помочь любому ходатаю в любом затруднении; на комиссионных началах обеспечивал он сановнику должность, промышленнику — имперский заказ, осужденному уголовнику — помилование, пленному германскому офицеру — освобождение...

При всей «очевидности» воспоминаний А. Симановича к ним все же необходимо относиться осторожно и сдержанно. Каков бы ни был тот побудительный мотив личного секретаря Распутина, вызывающий столь мощную волну откровений, его книга содержит налет субъективизма, некоторой предвзятости, стремления к раздуванию своей роли в описываемых событиях, преувеличению своего влияния на самого «старца», особенно что касается защиты интересов еврейской общины.

Так или иначе, но воспоминания помогают

обнажить и распознать корни распутинщины, истоки этого позорного для царской России явления. Думается, все, что связано с историей «провидца» и «мистика», заслуживает ныне самого серьезного рассмотрения. Ведь распутинщина в определенной степени проявилась и в недавнюю эпоху застоя. Разве скандальный судебный «процесс Чурбанова» не свидетельство тому?

Есть множество подтверждений, что сановники, не брезговавшие проводить интриги и защищать свои интересы через «старца», открещивались открыто от всякого с ним общения. Директор Департамента полиции Белецкий скрывал даже от жены на первых порах свое знакомство с царским фаворитом. Белецкий и Хвостов, имея непрерывные деловые контакты с Распутиным, виделись, однако, с ним только на конспиративных квартирах. От Чурбанова, правда, никто особо не открещивался, но вспомним — об этом писали в газетах,— как встречали его на вокзалах и в аэропорту по специальному этикету — для «главы государства»; вспомним, какую обстановку создал вокруг себя первый заместитель министра внутренних дел — обстановку напряженного изматывающего бреда, в которой расцветали химеры корысти, вседозволенности, упоения властью. Вспомним о баснословных взятках и поистине царских подношениях Чурбанову, о коррупции, которая бурно расцветала в застойные годы. Вспомним о перерожденцах, с которыми Чурбанов вступил в преступный сговор, о том ущербе — нравственном, политическом, экономическом,— который они нанесли обществу. Его, правда, не надо было оберегать, как Распутина, который находился под наблюдением четырех служб одновременно: придворной полиции, обеспечивавшей безопасность «старца» наравне с членами императорского дома, сотрудников «охранки», агентов полиции, а также особой частной охраны, организованной группой банкиров во главе с Д. Л. Рубинштейном. С Чурбановым было проще его оберегал «ранг» зятя Брежнева... Он служил ему охранной грамотой. Немало параллелей напрашивается между «старцем» и «зятем». Так же, как царский фаворит Распутин,— «государственный муж» Чурбанов развращал окружавшую его среду, влиял на политику, ускорял процесс стагнации...

Завершая краткое предисловие к публикации отрывков из воспоминаний А. Симановича, хотелось бы повторить, что ленинская оценка распутинщины, как выражения крайнего разложения правящей верхушки царской России, отнюдь не преувеличена. И расхожее заблуждение, что основной функцией «старца» при императорском дворе было играть роль эдакого «экстрасенса», в корне не соответствует историческим фактам и документам, что подтверждается воспоминаниями и записками очевидцев, активных участников тех далеких событий, среди которых был и Арон Симанович.

А. СЕВЕРОВ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Единственная цель этих воспоминаний передать мои наблюдения над бурным периодом русской истории, к которому относится: начало мировой войны, неслыханное возвышение Распутина, гибель Романовской династии и первые раскаты гражданской войны.

Я не собираюсь в них делать никаких открытий и никого разоблачать.

Я чужд тенденциозности. Я также стараюсь не говорить о делах, в которых я недостаточно осведомлен.

Мое повествование о событиях при дворе основывается главным образом на моих собственных приключениях и рассказах Распутина, который меня, как своего доверенного и советчика, посвящал во все, что он видел и слышал, а перед ним царская чета не имела никаких тайн.

Царь и царица исповедывались ему, как своему духовнику. Я вполне уверен, что его рассказы соответствовали правде, только по этой причине я осмелился говорить о фактах из интимной жизни царской семьи, которые до сих пор оставались неизвестными. Возможно, что в моем рассказе попадутся некоторые неточности в именах и в мелочах, но я никогда не вел ни записей, ни дневников и поэтому должен был положиться исключительно на свою память. Я полагаю, что будет много попыток поколебать правдивость моего рассказа, но я уверен, что это не удастся.

Что касается моей личной деятельности, о которой я рассказываю, то я не выставляю требований признать все мои поступки правильными. Для меня всегда было важно достигнуть цели, которую я себе поставил и считал верной. Я пользовался средствами, которые были под рукой и мне казались наиболее рациональными. Я старался в первую очередь использовать все возможности, которые мне предоставляло мое положение советника и царем назначенного секретаря Распутина.

А. СИМАНОВИЧ

КАК Я ПОПАЛ К ЦАРСКОМУ ДВОРУ

Для начала несколько слов обо мне самом.

Более чем десять лет я занимал в Петербурге положение, которое нужно признать исключительным. Впервые в истории России простой провинциальный еврей сумел не только попасть к царскому двору, но и влиять на ход государственных дел.

Тогдашние правящие круги, несмотря на их антисемитизм, не были для меня препятствием. Невзирая на то, что я был евреем, а моя деятельность сводилась к попыткам оказать помощь и добиться облегчения моим единоверцам, эти круги все же искали у меня совета и поддержки.

Мои успехи в Петербурге обычно приписывались моей дружбе с Распутиным и принято думать, что Распутин ввел меня ко двору. Это неверно. Дружба с Распутиным, конечно, была для меня очень ценна, но следует признать, что мои отношения с петербургским великосветским обществом установились еще до появления Распутина в столице. Каким путем это случилось, я расскажу позднее.

По профессии я ювелир и имел собственное дело в Киеве, но в 1902 году я решил перебраться в Петербург.

Жизнь в провинции меня не устраивала. Как все прочие евреи, я подвергался там всякого рода издевательствам и унижениям. Благодаря этому я приобрел большую «опытность» в обхождении с полицией и чиновничеством. Уже в провинции я завязал много знакомств в этих кругах и приобрел известный навык в обращении с чиновничеством и подкупе их. Это имело громадное значение для моей будущей деятельности.

В Петербурге мне приходилось неоднократно встречаться с людьми, которым я оказал в провинции немалые услуги и которые мне были благодарны и всегда готовы взаимно услужить. Некоторым из этих людей я обязан своей жизнью и жизнью моих детей. Это было в 1905 году, когда в Киеве был учинен еврейский погром.

После моего отъезда в Петербург моя семья осталась в Киеве, где продолжало существовать мое дело. При первых известиях о надвигающейся опасности я поспешил в Киев и стал очевидцем разгрома моих магазинов. Мой управляющий и многие из моих родных были убиты. Моя жизнь, а также жизнь моей семьи были в большой опасности, но руководитель погрома генерал Маврин и киевский полицмейстер Цихоцкий укрыли нас и дали мне с семьей возможность выехать в Берлин. При отъезде мне с семьей пришлось видеть у синагоги трупы убитых во время богослужения евреев. Эта картина произвела на меня неизгладимое впечатление, и еще в Берлине я долгое время не мог ее забыть.

Я решил всеми силами бороться за мою жизнь, жизнь моей семьи, моих родственников и за наше равноправие.

Когда я вернулся в Петербург и там сошелся с Распутиным, я решил действовать при его помощи, но на свою личную ответственность и без помощи моих единоверцев. Перед общественностью я только теперь выступаю с отчетом и еще раз заявляю, что всю ответственность принимаю на себя и готов к резким нападкам и обвинениям.

Моя жена происходила из весьма многочисленной еврейской семьи подрядчиков и несколько ее родственников жили при содействии Витте в Петербурге, как ремесленники. Они помогли моему переезду в Петербург, а также завязать первые деловые связи. Эти люди были солидными ремесленниками и купцами, которые получали иногда подряды и заказы даже от царского двора. Они вели очень скромный образ жизни и были далеки от столичного великосветского общества.

Я же был человеком совершенно другой складки: посещал часто и охотно клубы, варьете и скачки, где я встречал людей самого разнообразного общественного положения.

Известно, что страсть к азарту не только очень легко сближает людей, но и заставляет быстро забывать национальную и общественную рознь. Жажда к увеселениям делает людей, поддавшихся влиянию этой страсти, менее разборчивыми при выборе своих знакомств и менее щепетильными к образу и способу изыскания средств для удовлетворения этой страсти. В этой среде я скоро стал своим человеком и сумел использовать завязанные знакомства для расширения моих деловых начинаний.

Благодаря моему таланту быстро заводить знакомства и, несмотря на социальную разницу, дружиться, мне удалось в первую очередь поближе сойтись с людьми из придворной службы и заинтересовать их в моих делах.

Таким образом я все более и более проникал ко двору и знакомился с его обыденной жизнью. Я старался быть всячески полезным моим новым знакомым. Мое знание жизни и коммерческий опыт принесли много выгод людям, которые занимали высокое общественное положение, но были в хозяйственно-бытовых вопросах, как то: покупке или продаже каких-либо ценностей или получении кредитов, совершенно беспомощны. Необходимо заметить, что петербургское великосветское общество отличалось особенным незнанием деловой стороны жизни.

Исключительное значение имело для меня знакомство с обоими братьями князьями Виттенштейн, служившими в личном конвое императора Николая II.

При их содействии я познакомился с очень влиятельной придворной дамой императрицы Александры, княгиней Орбелиани, с кавказскими князьями Уча-Дадиани и Алек-Амилахвари и мало-помалу со всем офицерским составом царского конвоя. Позднее я завязал знакомство со всеми придворными дамами императрицы, известной Анной Вырубовой, Никитиной, госпожой фон Ден и княгиней Астаман-Голицыной. Я получил доступ к царскому дворцу и, наконец, был знаком почти со всем придворным штатом. Очень большую ценность имело для меня знакомство с придворным метрдотелем, французом Пуансэ, который пользовался громадным влиянием среди служащих.

Совместно с Пуансэ я учредил шахматный клуб, который в сущности был карточным клубом. Находившиеся в постоянной денежной нужде князья Витгенштейн были также сделаны участниками клуба. Таким путем я непосредственно заинтересовал многих влиятельных лиц из придворных кругов и свиты царя в некоторых из моих предприятий.

Судьба обоих братьев Витгенштейн, родственников Гогенцоллернов, очень трагична. Один из них был убит на дуэли из-за одной кокотки, а другой, женатый на известной красавице, цыганке Лизе Массальской, подавился куриной косточкой. Оба были очень дружны с царем и часто участвовали с ним в попойках.

После их смерти я принял компаньоном в мой шахматный клуб князя Уча-Дадиани, который находился в особенно хороших отношениях со двором. Он был другом дома княгини Софии Тархановой. Одна дочь княгини вышла замуж за князя Геловани. По желанию Геловани он мною был проведен в председатели моего игорного клуба.

Первое мое знакомство с придворными дамами произошло в доме бывшей любовницы Николая II, княгини Орбелиани. В это время она была уже парализована. Невзирая на ее бывшие отношения к царю, она пользовалась благоволением царицы, которая часто брала эту несчастную парализованную женщину в свой экипаж на прогулки.

Императрица вообще редко показывала свою ревность, хотя поводов к ней было немало. В доме княгини Орбелиани я впервые выступал как ювелир, продавец и специалист «по бриллиантам». Скоро я им стал необходим. Мне удалось завоевать благожелание и доверие многих высокопоставленных лиц и я сделался посвященным во многие тайны придворной жизни. Я начал чувствовать прочную почву под своими ногами. Моя самоуверенность росла, в особенности, когда я видел, как многим лицам импонировали мои отношения к придворным кругам. Мои просьбы и пожелания стали удовлетворяться в соответствующих правительственных местах. Нашлось уже много людей, которые хотели быть мне полезными и услужливыми. Со своей стороны я также старался быть приятным этим лицам.

Через княгиню Орбелиани я был представлен царице. Она как-то вызвала меня во дворец, чтобы посоветоваться со мной о каких-то драгоценностях. Для меня это было очень важно. Царица приняла меня в доме княгини Орбелиани и наша встреча была очень непринужденной. Я получал от нее неоднократно заказы, которые я исполнял быстро и добросовестно. Императрица оставалась мною довольна и стала мне доверять. Мне была известна ее бережливость и на продаваемые драгоценности я назначал очень низкие цены. Купивши что-нибудь у меня, она потом справлялась у придворного ювелира Фаберже о цене и, если он удивлялся дешевизне, государыня была очень довольна. Для меня, конечно, было самое важное — благожелание царицы. Часто покупала она драгоценности также в рассрочку. Я шел всегда ей навстречу и этим доставлял ей особенное удовольствие. Лица ее окружения также стремились при покупках драгоценностей к уступкам с моей стороны. Я охотно уступал им, чтобы завоевать расположение этих лиц ко мне. Потом уже эти же лица старались сослужить мне.

СТАРЕЦ

В это время — в 1905 году — появился при царском дворе Григорий Распутин.

Еще до появления его при дворе были распространены самые фантастические слухи об этом таинственном человеке, основанием которых служили письма супруги великого князя Николая Николаевича, Анастасии и ее вышедшей замуж за великого князя Петра Николаевича сестры Милицы.

Обе сестры как раз в то время находились в киевском монастыре.

Они сообщали из Киева о чудесном старце, которого они хотели взять с собой в Петербург. Этот человек — не монах и не священник, но обладает душевной силой.

Уже давно в окружении царицы перешептывались, что царица передала своим детям нездоровую кровь, которая является возбудителем болезней и причиной разных несчастий. Должен заметить, что среди придворных кругов было сильно развито суеверие. В этом отношении они не стояли выше простого крестьянства. Большинство лиц из царского окружения были очень ограничены, неопытны и беспомощны в самых обыденных жизненных вопросах. Вырубова, княгиня Орбелиани и другие придворные дамы передавали царской чете то, что они слышали о Распутине. Царь и царица как раз переживали очень тяжелые дни. Их угнетали опасения перед своей родней, двором и неизвестной будущностью. Надвигалась буря революции. Когда до них донеслись слухи о Распутине и его чудесах, в них зародилась надежда, что он мог бы помочь. Более всего они надеялись, что он мог бы исцелить тяжко больного царевича.

И до Распутина неоднократно при русском дворе появлялись многочисленные странники, монахи, предсказатели и тому подобные личности. Царская чета охотно беседовала и советовалась

с ними. Советы исполнялись в точности, но ничего не помогало. После нескольких собеседований, совместных молитв и религиозных наставлений обычно интерес царской семьи к ним исчерпывался и они могли идти своей дорогой.

Между царем и царицей возникали очень часто ссоры. Оба были очень нервны. По несколько недель царица не разговаривала с царем — она страдала истерическими припадками. Царь много пил, выглядел очень плохо и сонно, и по всему было заметно, что он не властен над собой. Как раз в это время появились слухи о чудесных исцелениях Распутина. Рассказывали, что своими чудодействующими травами он врачует от самых тяжелых болезней. Все это дало пищу надеждам царской четы, и был отдан приказ доставить Распутина как можно скорее в царский дворец.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА РАСПУТИНА С ПРИДВОРНЫМИ ДАМАМИ

Откуда взялся Распутин и каким путем он мог достигнуть такого огромного влияния и неслыханного значения?

Я уже сказал, что в петербургском обществе Распутин нашел хорошо подготовленную почву. Он отличался от других сомнительных личностей, ясновидящих, предсказателей и тому подобных людей своей изумительной силой воли. Кроме того, он никогда не преследовал личных мелочных интересов и его стремление к влиянию над людьми вызывалось только жаждой к власти. Его сильная личность требовала выявления власти. Он любил приказывать и распоряжаться людьми. Это стремление обнаружилось у него еще до его появления в Петербурге, когда он еще проживал в стесненных условиях и, конечно, в значительно сильной мере, в Петербурге, когда он достиг своих баснословных успехов.

Распутин появился за девять лет до начала великой войны и дальнейшие события я буду передавать по рассказам самого Распутина.

Великая княгиня Анастасия, супруга Николая Николаевича, и ее сестра Милица отправились на богомолье в Киев. Они остановились в подворье Михайловского монастыря. Однажды утром они на дворе монастыря заметили обыкновенного странника, занятого колкой дров. Он работал для добывания себе пропитания. Это был Распутин. Он уже посетил много святых мест и монастырей и находился на обратном пути своего второго путешествия в Иерусалим. Распутин пристально посмотрел на дам и почтительно им поклонился. Они задали ему несколько вопросов и таким образом завязался разговор. Незнакомый странник показался дамам очень интересным. Он рассказывал о своих странствованиях по святым местам и о своей жизни. Он много видел и пережил. Два раза он пешком проделал далекую дорогу из Тобольска в Иерусалим и знал все знаменитые большие монастыри, а также мог многое рассказать о знаменитых монахах. Его рассказ привлекал высокопоставленных дам и его повествования на религиозные темы импонировали им. Первое знакомство закончилось приглашением его на чай.

Распутин вскоре воспользовался приглашением. Великие княгини, которые свою поездку на богомолье совершали инкогнито, скучали и рассказы Распутина доставляли им развлечение, которого им не доставало. Поэтому они радовались видеть в своих покоях своеобразную характерную фигуру Распутина.

Распутин рассказывал своим новым незнакомкам, что он простой человек села Покровского Тобольской губернии. Его отец еще жив и занимается погрузкой и выгрузкой барж на реке Туре. Семья его состояла из его жены Прасковьи, сына Мити и дочерей Марьи и Вари. Далее Распутин рассказывал, что хотя он и человек необразованный, еле разбирающий грамоту, он часто на железнодорожных станциях и пароходных пристанях проповедует народу. Он гордился своим проповедническим талантом и утверждал, что ему не трудно побороть даже ученых миссионеров и богословов. В особенности он подчеркивал свое знание «церковного права», но трудно было уяснить, что он понимает под церковным правом. Во всяком случае несомненно одно, что Распутин своими религиозными познаниями приводил в изумление даже епископов и академически образованных богословов.

Посещение Распутиным петербургских дам становилось все чаще. Они охотно с ним встречались, угощали его и относились к нему весьма любезно. В личности Распутина было что-то, что привлекало людей к нему. В особенности дамы, сами того не замечая, легко попадали под его влияние. Когда Распутин узнал, кто его новые знакомые, он в особенности постарался заручиться их расположением, значение которого для него сразу стало ясным. Конечно, он в то время еще и не предвидел, какая значительная роль ему предначертана при царском дворе, но сразу сообразил, какие блестящие возможности ему открываются.

Распутин сообщил дамам, что он обладает способностью излечивать все болезни, никого не боится, может предсказать будущее и отвести предстоящее несчастье. В его рассказах было много огня и убедительности, и его серые пронизывающие глаза блестели так суггестивно, что его слушательниц охватывало какое-то восхищение перед ним. Они проявляли перед ним какое-то мистическое поклонение. Легко подвергающиеся суеверию, они были убеждены, что перед ними чудотворец, которого искали их сердца. Одна из них спросила его как-то вечером, может ли он излечить гемофилию. Ответ Распутина был утвердительным, причем он пояснил, что болезнь эта ему хорошо известна и описал ее симптомы с изумительной точностью. Нарисованная картина болезни вполне соответствовала страданиям цесаревича. Еще большее впечатление оставило его заявление, что он уже излечил несколько лиц от этой болезни. Он называл также травы, которые для этого применялись им. Дамы были счастливы, что им представляется возможность оказать царской чете громадную услугу излечением ее сына. Они поведали Распутину о болезни наследника, о которой в то время в обществе еще ничего не было известно, и он предложил излечить его.

Таким образом завязался узел, развязка которого последовала лишь убийством чудотворца и бурями второй революции.

Началось царствование Распутина. «...»

РАСПУТИН — ЛЮБИМЕЦ ЦАРСКОЙ ЧЕТЫ

Распутин прибыл в Петербург не по железной дороге, а пешком и при этом босиком. Он остановился в монастырской гостинице, как гость архимандрита Феофана. Это и послужило поводом к слухам, что Распутина рекомендовал Николаю Николаевичу Феофан.

Из монастырской гостиницы Распутин переехал на квартиру генеральши Лохтиной на Николаевской улице.

Эксцентричная и не отдававшая в своих действиях отчета, госпожа Лохтина была известна тем, что она всегда носила белый шелковый цилиндр. Генеральша была чрезвычайно предана Распутину и обучала его грамоте. От нее Распутин перебрался к Сазонову, родственнику министра иностранных дел, на Ямскую улицу. Позднее Распутин жил на Английской набережной, и наконец поселился на Гороховой улице, в доме № 64, где и проживал до самой смерти.

В Царском Селе Распутина ожидали с нетерпением, но приняли сдержанно. Великая княгиня Анастасия встретила Распутина в Петербурге и вскоре ввела его к царице. Он оставил приятное впечатление, вел себя спокойно и с достоинством, рассказывал о своей жизни и избегал хвастаться своей сверхъестественной силой. Он знал, что великие княгини уже достаточно его разрекламировали.

С первой же встречи с царевичем он отнесся к больному мальчику с особенной предупредительностью. Он владел даром влиять на людей успокаивающим образом. Его спокойствие и уверенное обращение сильно влияли на людей. Его особенное искусство воздействовать на больных сразу поставило его в надлежащее положение у кровати страдающего мальчика.

Бедный ребенок страдал кровотечением из носа, и врачи не *в силах были ему помочь. Обильные потери крови обессиливали* мальчика и в этих случаях родителям всегда приходилось дрожать за его жизнь. Дни и ночи проходили в ужасном волнении. Маленький Алексей полюбил Распутина. Суггестивные способности Распутина оказывали свое действие. Однажды, когда опять наступило кровотечение из носа, Распутин вытащил из кармана ком древесной коры, разварил ее и в кипятке и покрыл этой массой все лицо больного. Только глаза и рот остались открытыми. И произошло чудо: кровотечение прекратилось. Распутин рассказывал мне подробно об этом своем первом выступлении в царском дворце в качестве врача. Он не скрывал, что кора, которой он покрыл лицо царевича, была обыкновенной дубовой корой, имеющей качество останавливать кровотечение. Царская чета при этом случае же узнала, что существуют сибирские, китайские и тибетские травы, обладающие чудесными целебными свойствами. Распутин между прочим умел исцелять также без помощи трав. Болел кто-нибудь головой и лихорадкой — Распутин становился сзади больного, брал его голову в свои руки, нашептывал что-то, никому непонятное, и толкал больного со словом «Ступай». Больной чувствовал себя выздоровевшим. Действие распутинского нашептывания я испытал на себе и должен признаться, что оно было ошеломляющим.

Распутин возбуждал в окружающих его людях самые разнообразные чувства. Одни испытывали перед ним какую-то странную боязнь, другие глубокое почитание, а третьи его ненавидели. Царская семья находилась всецело в его власти и царь подчинялся вполне его влиянию. Распутин управлял им. Я не сомневаюсь в том, что Распутин потерял бы значительную долю своего влияния, если бы наследник выздоровел. Не подлежит сомнению, что здоровье наследника благодаря уходу Распутина значительно улучшилось, но он никогда совершенно не поправлялся. Распутин сумел внушить царю, что болезнь наследника опасна для него только до восемнадцатилетнего возраста и что после этого срока он совершенно избавится от болезни. При всяком ухудшении здоровья мальчика и при малейшем его недомогании призывался чудотворец: он обладал необъяснимой властью над мальчиком. Неодно-

кратно было достаточно телефонного разговора, чтобы прогнать бессонницу или лихорадку. Этими обстоятельствами и объясняется необыкновенное влияние Распутина на царицу. Не лишенная некоторого болезненного оттенка, материнская любовь царицы делала ее рабыней Распутина. Он умел эти необычайные обстоятельства использовать для себя... Я догадываюсь, что в некоторых случаях он нарочно способствовал тому, чтобы обстановка эта сложилась как можно более выгодно для него.

Несмотря на свою необразованность, он был очень хитрым и ловким человеком. Было естественно, что он хотел свою сказочную власть удержать как можно дольше, к чему равно с ним стремилось все окружение царя, большинство придворных чинов, министров, генералов и прочих высокопоставленных лиц, которые меньше заботились об интересах родины, и главным образом стремились как можно дольше удержать в своих руках власть. Разница между ними и сибирским мужиком состояла в том, что они не обладали особыми дарованиями и влиянием на царя.

В конце концов власть Распутина была даже больше власти царя, так как в некоторых случаях он мог добиться больше, чем император «всея России».

Распутин умел за счет царя окружить себя людьми, которые ему были преданы душой и телом и служили ему не за страх, а за совесть. С другой стороны, он видел возрастающую с каждым днем против него вражду. Против него открылся настоящий поход. Его враги изо дня в день становились все многочисленнее и сильнее. Они старались восстановить против него всю Россию. Их работа не оставалась безрезультатной, но одного они не могли достичь: разлучить царя и царицу с Распутиным.

Любовь царской четы к Распутину еще более окрепла, и даже просьбы и угрозы не могли ничего изменить. Хоть царь и царица не могли не видеть грозивших им из-за Распутина опасностей, но они не обращали на них внимания. Возникала неслыханная борьба, в которой против царя выступали: его народ, его ближайшие сотрудники и его родня.

Протестами против Распутина, грязными и лживыми доносами на него отравлялась жизнь царской четы. Но всегда безвольный, царь оставался в этом вопросе непоколебимым. Другой на его месте пожертвовал бы не только Распутиным, но и самым дорогим и любимым, лишь бы спасти уже в то время колеблющуюся корону. Но Николай пошел как раз противоположной дорогой. Он всем пожертвовал, лишь бы оставить около себя Распутина. При этом погиб не только он сам и его семья, но и великое государство.

МОЯ ДРУЖБА С РАСПУТИНЫМ

Я познакомился с Распутиным еще в Киеве, до того, как он стал известен в Петербурге. В Петербурге я совершенно случайно встретил его у княгини Орбелиани, с которой я был в хороших отношениях. Впоследствии я его часто видел у Вырубовой.

При первой встрече на меня оказали сильное влияние его выразительные глаза. Эти глаза одновременно и приковывали человека и вызывали какое-то неприятное чувство. Я вполне понимаю, что его взгляд оставлял на людей слабых и легко подвергающихся чужому влиянию очень сильное впечатление.

Вырубова нуждалась в моем деловом совете по вопросу, касающемуся Распутина. Распутин отнесся ко мне весьма почтительно и показал, что он готов взаимно услужить. Я заметил, что этот мужик умел ценить хорошие отношения. Мы сделались скоро друзьями. Мне в руку сыграло то обстоятельство, что Распутин не имел никакого понятия о финансовой стороне существования и очень неохотно занимался финансовыми вопросами. Неоднократно в своей прошедшей жизни ему приходилось попрошайничать, проживать бесплатно в монастырях, монастырских гостиницах или у зажиточных крестьян. Будущность его интересовала очень мало. Он был вообще человеком беспечным и жил настоящим днем. Царский двор заботился о нем в Петербурге, но он оставался в столице беспомощным и чужим. Несмотря на свою близость к царской семье, он оставался одиноким. Его могучий и чувственный темперамент требовал сильных и возбуждающих переживаний. Он любил вино, женщин, музыку, танцы и продолжительные и интересные разговоры. В царском дворе он этого ничего не имел. Во дворце велась совершенно особая жизнь и творившиеся там человеческие низости оставались скрытыми под маской притворства и кажущейся добродетели. Это не подходило Распутину. В присутствии царя и царицы Распутин сдерживал свой страстный характер. Но его личная жизнь была беспорядочна, и он не был в состоянии завести налаженный домашний очаг. Вначале он жил на случайные подачки царя. Здесь ему потребовалась моя помощь, и это было основой нашей дружбы.

Я принял на себя хлопоты о его материальном благополучии, и Распутин был очень рад, что освобождался от этих забот. Вскоре я сделался для него незаменимым. Я заботился о всех мелочах и нуждах его ежедневной жизни. Мой опыт и мое знакомство со столичными условиями ему импонировали. Я помогал ему ориентироваться в Петербурге. Многое было для него ново — и он привыкал постепенно руководствоваться во всем моими советами. Таким образом я сделался его секретарем, ментором, управляющим и защитником. В результате Распутин без меня не предпринимал ничего важного. Я посвящался во все его дела и тайны. В случаях непослушания мне приходилось на него частенько прикрикивать, после чего Распутин вел себя как провинившийся школьник. Общественность об этом ничего не знала, и все были только уверены, что благодаря Распутину мне представляется возможным провести у царя, царицы, министров и прочих власть имеющих сановников почти все, что я желаю.

ЛИЧНОСТЬ РАСПУТИНА

Своей внешностью Распутин был настоящий русский крестьянин. Он был крепыш, среднего роста. Его светло-серые острые глаза сидели глубоко. Его взгляд пронизывал. Только немногие его выдерживали. Он содержал суггестивную силу, против которой только редкие люди могли устоять. Он носил длинные, на плечи ниспадающие волосы, которые делали его похожим на монаха или священника. Его каштановые волосы были тяжелые и густые.

Духовных лиц Распутин не ставил высоко. Он был верующим, но не притворялся, молился мало и неохотно, любил, однако, говорить о боге, вести длинные беседы на религиозные темы и, несмотря на свою необразованность, любил философствовать. Его сильно интересовала духовная жизнь человека. Он был знаток человеческой психики, что ему оказывало большую помощь. Регулярную работу он не любил, так как был лентяем, но мог в случае необходимости напряженно физически работать. Временами физическая работа была для него необходима.

Вокруг Распутина собралось несчетное количество легенд. Я не намерен состязаться с сочинителями всяких скандальных историй и хочу лишь передать мои наблюдения над действительным Распутиным.

На лбу Распутин имел шишку, которую он тщательно закрывал своими длинными волосами. Он всегда носил при себе гребенку, которой расчесывал свои длинные, блестящие и всегда умасленные волосы. Борода же его была почти всегда в беспорядке. Распутин только изредка расчесывал ее щеткой. В общем он был довольно чистоплотным и часто купался, но за столом он вел себя малокультурно. Он пользовался только в редких случаях ножом и вилкой, и предпочитал брать кушанья с тарелок своими костлявыми и сухими пальцами. Большие куски он разрывал, как зверь. Только немногие могли при этом смотреть на него без отвращения. Его рот был очень велик, но вместо зубов в нем виднелись какие-то черные корешки. Во время еды остатки пищи очень часто застревали в его бороде. Он никогда не ел мяса, сладостей и пирожных. Его любимыми блюдами были картофель и овощи, которые доставлялись ему его почитательницами. Распутин не был антиалкоголиком, но и не ставил высоко водку. Из других напитков он предпочитал мадеру и портвейн. К сладким винам он привык в монастырях и мог их переносить в очень больших количествах. В своей одежде Распутин всегда оставался верен своему крестьянскому наряду. Он носил русскую рубашку, опоясанную шелковым шнурком, широкие шаровары, высокие сапоги и на плечах поддевку. В Петербурге он охотно надевал шелковые рубашки, которые вышивали для него и подносили ему царица и его поклонницы. При них он также носил высокие лаковые сапоги.

Распутин любил поучать людей. Но он говорил немного и ограничивался короткими отрывистыми и часто даже непонятными фразами. Все должны были внимательно к нему прислушиваться, так как он был очень высокого мнения о своих словах.

Почитательниц Распутина можно разделить на две категории. Одни верили в его сверхъестественные силы и его святость, в его божественное назначение, а другие просто считали модным за ним ухаживать или старались через него добиться для себя или своих близких каких-нибудь преимуществ. Когда Распутина укоряли его слабостью к женскому полу, он обычно отвечал, что его вина уж не так велика, так как очень много высокопоставленных лиц прямо вешают ему на шею своих любовниц и даже жен, чтобы таким путем добиться от него каких-нибудь выгод для себя. И большинство этих женщин вступали в интимную связь с ним с согласия своих мужей или близких. Были у Распутина почитательницы, которые навещали его по праздникам, чтобы поздравить, и при этом обнимали его пропитанные дегтем сапоги. Распутин, смеясь, рассказывал, что в такие дни он особенно обильно мажет свои сапоги дегтем, чтобы валяющиеся у его ног элегантные дамы побольше бы испачкали свои шелковые платья.

Баснословный успех его у царской четы сделал его каким-то божеством. Все петербургское чиновничество пришло в волнение. Одного слова Распутина было достаточно, чтобы чиновники получали высокие ордена или другие отличия. Поэтому все искали его поддержки. Распутин имел больше власти, чем любой высший сановник.

Не нужно было особых знаний или талантов, чтобы при его

помощи сделать самую блестящую карьеру. Для этого было достаточно прихоти Распутина.

Назначения, для которых была необходима долголетняя служба, Распутиным проводились в несколько часов. Он доставлял людям должности, о которых они раньше и мечтать не смели. Он был всемогущий чудотворец, но при этом доступнее и надежнее, чем какая-нибудь высокопоставленная особа или генерал.

Ни один царский фаворит — никогда в России не достигал такой власти, как он.

Распутин не старался перенять манеры и привычки благовоспитанного петербургского общества. Он вел себя в аристократических салонах с невозможным хамством.

По-видимому, он нарочно показывал свою мужицкую грубость и невоспитанность.

Это была удивительная картина, когда русские княгини, графини, знаменитые артистки, всесильные министры и высокопоставленные лица ухаживали за пьяным мужиком. Он обращался с ними хуже, чем с лакеями и горничными. По малейшему поводу он ругал этих аристократических дам самым непристойным образом и словами, от которых покраснели бы конюхи. Его наглость бывала неописуема.

К дамам и девушкам из общества он относился самым бесцеремонным образом и присутствие их мужей и отцов его нисколько не смущало. Его поведение возмутило бы самую отъявленную проститутку, но несмотря на это почти не было случаев, когда кто-нибудь показывал свое возмущение. Все боялись его и льстили ему. Дамы целовали его испачканные едой руки и не гнушались его черных ногтей. Не употребляя столовых приборов, он за столом руками распределял среди своих поклонниц куски пищи и те старались уверить его, что они это считают каким-то блаженством. Было отвратительно наблюдать такие сцены. Но гости Распутина привыкли к этому и все это принимали с беспримерным терпением.

Я не сомневаюсь, что Распутин нередко вел себя возмутительно-безобразно, чтобы показать свою ненависть дворянству. С особенной любовью он ругался и издевался над дворянством, называл их собаками и утверждал, что в жилах любого дворянина не течет ни капли русской крови. Разговаривая же с крестьянами или своими дочерьми, он не употреблял ни единого бранного слова. Его дочери имели особую комнату и никогда не заходили в помещения, в которых находились гости. Комната дочерей Распутина была хорошо меблирована и из нее вела дверь в кухню, в которой жили племянницы Распутина Нюра и Катя, наблюдавшие за его дочерьми. Собственные комнаты Распутина были почти совсем пусты и в них находилось очень немного самой дешевой мебели. Стол в столовой никогда не накрывали скатертью. Только в рабочей комнате стояло несколько кожаных кресел, и это была единственная более или менее приличная комната во всей квартире. Эта комната служила местом интимных встреч Распутина с представительницами высшего петербургского общества. Эти сцены обычно протекали с невозможной простотой, и Распутин в таких случаях соответствующую даму выпроваживал из своей рабочей комнаты словами: «Ну, ну, матушка, все в порядке!»

После такого дамского визита Распутин обыкновенно отправлялся в напротив его дома находящуюся баню. Но данные в таких случаях обещания всегда исполнялись.

При любовных похождениях Распутина бросалось в глаза, что он терпеть не мог навязчивых особ. Но с другой стороны, он надоедливо преследовал не поддававшихся его вожделениям дам. В этом отношении он становился даже вымогателем и отказывался от всякой помощи в делах таких лиц. Бывали также случаи, что приходившие к нему с просьбами дамы прямо сами себя предлагали, считая это необходимой предпосылкой для исполнения их просьбы. В таких случаях Распутин играл роль возмущенного и читал просительнице самое строгое нравоучение. Их просьбы все же исполнялись.

ДОМ РАСПУТИНА

В столовой Распутина обычно собиралось самое разнообразное общество. Каждый посетитель считал своей обязанностью приносить что-нибудь съедобное. Мясные блюда не почитались. Приносили много икры, дорогой рыбы, фруктов и свежего хлеба. Кроме того, на столе стояли всегда картофель, кислая капуста и черный хлеб. Бессменно на столе возвышался громадный кипящий самовар. Кладовая Распутина была всегда набита всевозможными запасами. Каждый приходящий мог угощаться по своему желанию. Иногда можно было наблюдать сцену, когда Распутин бросал куски черного хлеба в миску с ухой, вытаскивал своими руками эти куски опять из ухи и распределял между своими гостями. Последние принимали эти куски с воодушевлением и съедали их с удовольствием. На столе всегда находилась куча сухарей из черного хлеба и соль. Распутин любил эти сухари, а также предлагал их своим гостям, среди которых постоянно находились кандидаты на министерские посты и другие высокие должности. Распутинские сухари пользовались в Петербурге большой популярностью. Его хозяйство вели его племянницы Нюра и Катя. Прислуги он не держал.

Съестные припасы я доставлял Распутину на дом. Я заботился о том, чтобы Распутин и его семья получали бы все необходимое; по этому поводу у нас с ним существовало молчаливое соглашение. Николай II знал, что пока его любимец находится на моем попечении, он ни в чем нуждаться не будет. Распутин принимал мои услуги, но никогда не спрашивал об их мотивах. Он даже не интересовался, откуда я доставал деньги. В случае какой-либо нужды он всегда просто обращался ко мне.

Жизнь Распутина требовала громадных сумм, и я всегда их доставал. В последнее время по распоряжению царя из министерства внутренних дел отпускались ежемесячно пять тысяч рублей, но при широком образе жизни Распутина и его кутежах этой суммы никогда не хватало. Не хватало также моих личных средств на покрытие всех расходов. Поэтому я доставал Распутину деньги из особых источников, которые, чтобы не повредить моим единоверцам, я никогда не выдам.

Если бы Распутин думал лишь о собственных выгодах, то он накопил бы большие капиталы. Ему не стоило бы много труда получать от лиц, которым он устраивал должности и всякие другие выгоды, денежные вознаграждения. Но он никогда не требовал денег. Он получал подарки, но они не были высокой стоимости. Например, ему дарили одежду или платили по его счетам за кутежи. Деньги он принимал лишь в тех случаях, если он ими мог кому-нибудь помочь. Бывали случаи, что одновременно с каким-либо богачом у него находился бедный, хлопочущий о помощи. В таких случаях он предлагал богачу давать бедному несколько сот рублей. С особым удовольствием он помогал обращающимся к нему за помощью крестьянам. Случалось, что он своих просителей посылал к еврейским миллионерам: Гинцбургу, Соловейчику, Манусу, Каминка и другим с записками о выдаче им той или другой суммы. Эти просьбы всегда удовлетворялись. Когда Распутина посещал М. Гинцбург, то он обычно отнимал у него все при нем находящиеся наличные деньги и распределял их среди всегда в его доме толпящейся бедноты. В таких случаях он любил выражаться: в доме находится богатый человек, который хочет распределить свои деньги среди бедняков. Но для себя он ничего не требовал. Я пытался его заинтересовать в моих делах, но он всегда отказывался. Если его хотели отблагодарить, то нужно было искать особые пути. От природы он имел доброе сердце. Случалось лишь очень редко, что он в исполнении какой-нибудь просьбы отказывал. В серьезных случаях он показывал себя всегда очень деликатным и всегда готовым к помощи. Он очень подробно расспрашивал своих просителей, и ему было очень неприятно, если он не мог им помочь. Он охотно выступал за обиженных и униженных, и принимал жалобы на власть имущих.

Между 10 — 1 у него всегда бывал прием, которому мог позавидовать любой министр. Число просителей иногда достигало до 200 лиц, и среди них находились представители самых разнообразных профессий. Среди этих лиц можно было встретить генерала, которого собственноручно побил великий князь Николай Николаевич, или уволенного вследствие превышения власти государственного чиновника. Многие приходили к Распутину, чтобы выхлопотать повышение по службе или другие льготы, иные опять с жалобами или доносами. Евреи искали у Распутина защиты против полиции или военных властей. Но мужчины терялись в массе женщин, которые являлись к Распутину со всевозможными просьбами и по самым разнообразным причинам.

Если он не спал после ночного кутежа, то он обычно выходил к этой разношерстной, набившей все углы его квартиры толпе просителей. Он низко кланялся, оглядывал толпу и говорил: «Вы пришли все ко мне просить помощи. Я всем помогу».

Почти никогда Распутин не отказывал в своей помощи. Он никогда не задумывался, стоит ли проситель его помощи и годен ли он для просимой должности. Про судом осужденных он говорил: «Осуждение и пережитый страх уже есть достаточное наказание».

Для Распутина было решающим то, что проситель нуждался в его помощи. Он помогал всегда, если было только возможно, и он любил унижать богатых и власть имущих, если он этим мог показать свои симпатии бедным и крестьянам. Если среди просителей находились генералы, то он насмешливо говорил им: «Дорогие генералы, вы привыкли быть принимаемыми всегда первыми. Но здесь находятся бесправные евреи, и я еще их сперва должен отпустить. Евреи, подходите. Я хочу для вас все сделать».

Далее евреи уже поручались мне и я должен был от имени Распутина предпринимать соответствующие шаги.

После евреев Распутин обращался к другим посетителям, и только под самый конец он принимал просьбы генералов. Он любил во время своих приемов повторять: «Мне дорог каждый приходящий ко мне. Люди должны жить рука об руку и помогать друг другу».

Жена Распутина приезжала в Петербург, чтобы навестить своего мужа и детей, лишь раз в год, и оставалась на самое короткое время. Во время ее приездов Распутин не стеснял себя, но обходился с ней очень приветливо и любил ее по-своему. Она не обращала много внимания на любовные похождения своего мужа

и в таких случаях говорила: «Он может делать, что хочет. У него хватает для всех».

Он целовал своих аристократических поклонниц в присутствии своей жены, и ей это даже льстило. Обычно очень упрямый, легко вспыльчивый, не терпящий противоречий и готовый всегда драться со своим противником, Распутин относился к своей жене очень податливо. Они жили в сердечной дружбе и никогда не спорили между собой.

Однажды приезжал в Петербург также отец Распутина, чтобы вблизи посмотреть на успехи своего сына. Он в Петербурге оставался очень короткое время, поехал обратно домой и скоро там умер. Сын Распутина Дмитрий был очень тихий и добродушный мальчик. Он был мало даровит и учился плохо. После двухлетнего посещения духовного училища, он вернулся в село Покровское, сделался там крестьянином и теперь еще живет там со своей женой и матерью. Во время войны он стал военнообязанным, но отец его не пустил на фронт, а устроил помощником санитара в императорском санитарном поезде.

РАСПУТИН КУТИТ

Страстный кутила, Распутин находился в наилучших отношениях со всеми прожигательницами жизни столицы. Любовницы великих князей, министров и финансистов были ему близки. Поэтому он знал все скандальные истории, связи высокопоставленных лиц, ночные тайны большого света, и он умел все это использовать для расширения своего значения в правительственных кругах. Петербургские великосветские дамы, кокотки, знаменитые артистки и веселые аристократки, все были горды своими отношениями к любимцу царской четы. Все они были ослеплены его успехами. Дружба с Распутиным давала им возможность знать много разных тайн, обделывать свои темные делишки и делать свою собственную или близких им людей карьеру. Разные прожигательницы жизни имели в то время особое влияние в Петербурге и занимали какое-то особое положение в дореволюционное время.

Случалось часто, что Распутин звонил к одной из своих приятельниц из этого круга и приглашал в известный ресторан. Приглашения всегда принимались и начинался кутеж. Дамы эти пользовались удобным случаем, чтобы похлопотать у Распутина за своих друзей, любовников и родных. Очень многие из этих дам обогащались таким способом, так как Распутин в таких случаях был очень податливым.

Владелец загородного ресторана «Вилла Роде» построил для ночных кутежей Распутина специальный дом. Там можно было встречать часто лиц с очень громкими именами и титулами; при этом дамы из общества старались своими выходками перебить хористок и шансонеток. Обычно призывался цыганский хор, так как Распутин очень любил цыганское пение. Он был также страстным танцором и великолепно танцевал русские танцы. В этом отношении было трудно с ним конкурировать даже профессиональным танцорам.

Отправляясь на кутежи, Распутин всегда набивал свои карманы разными подарками: конфетами, шелковыми платками и лентами, пудреницами, духами и тому подобными вещами. Распутин очень радовался, если после его прихода в ресторан все эти вещи расхищались из его карманов, и кричал весело: «Цыганки меня обворовали!»

Бывало очень редко, чтобы при таких кутежах не присутствовал какой-нибудь министр или кандидат в министры.

Однажды во время такого кутежа была предпринята попытка убить Распутина.

Несколько молодых людей и офицеров сумели устроить себе доступ на место кутежа. Вначале все было тихо, но когда Распутин вышел на середину комнаты, приглашая партнершу на танец, офицеры вскочили и обнажили свои шашки. У штатских появились в руках револьверы. Распутин отскочил в сторону, обвел заговорщиков страшным взглядом и вскрикнул: «Вы хотите покончить со мною!»

Заговорщики стояли окаменелые, как парализованные. Они не могли отвернуться от взгляда Распутина. Все затихли. Случай произвел на всех присутствующих сильное впечатление.

Распутин пояснил: «Вы были моими врагами, но теперь вы больше не враги. Вы видели, что моя сила победила. Не сожалейте, что вы сюда пришли, но и не радуйтесь, что вы можете уйти. Не существует больше такой власти, которая могла бы направить вас против меня. Ступайте домой. Я хочу остаться с моими здесь и отдохнуть».

Молодые люди опустились перед Распутиным на колени и умоляли его их простить.

— Я вам не прощу, — ответил Распутин, — так как я вас сюда не приглашал. Я не радовался, когда вы пришли, и не горюю, когда вы уходите. Теперь уходите. Вы излечены. Ваши гибельные намерения пропали.

Заговорщики оставили помещение.

РАСПУТИН И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

В Петербурге усиленно распространялись слухи, что Распутин находится в интимной связи с царицей и ведет себя также неблагопристойно по отношению к царским дочерям. Эти слухи не имели ни малейшего основания.

Распутин никогда не являлся во дворец, когда там не было царя. Я не знаю, по собственной ли инициативе или по царскому указанию он так поступал. Изредка Распутин встречался с царицей в ее лазарете, но всегда в присутствии свиты.

Также в слухах о царских дочерях нет ни слова правды. По отношению к царским детям Распутин был всегда внимателен и благожелателен. Он был против брака одной из царских дочерей с великим князем Дмитрием Павловичем, предупреждая ее и даже советуя не подавать ему руки, так как он страдает болезнью, от которой можно было заразиться при рукопожатии. Если же рукопожатие неизбежно, то Распутин советовал сейчас же после этого умываться сибирскими травами.

Советы и указания Распутина оказывались всегда полезными, и он пользовался полным доверием царской семьи. Царские дети имели в нем верного друга и советника. Если они вызывали его недовольство, то он срамил их. Его отношения к ним были чисто отеческие. Вся царская семья верила в божественное назначение Распутина.

Он часто упрекал царицу в ее скупости. Он был очень недоволен, что вследствие бережливости царские дочери ходили плохо одетыми. Скупость царицы при дворе вошла в поговорку. Она стремилась даже в мелочах экономить. Ей было до того тяжело расставаться с деньгами, что она даже платья покупала в рассрочку.

Грязные сплетни давали мне повод к частым разговорам с Распутиным по поводу его отношений к царице и ее дочерям. Эти злостные сплетни меня сильно беспокоили и я считал бессовестным распространение безобразных слухов про безукоризненно ведших себя царицу и ее дочерей. Чистые и безупречные девушки не заслуживали этих распространяемых бессовестными создавателями сенсаций обвинений.

Несмотря на их высокое положение, они были беззащитны против такого рода слухов.

Было стыдно, что даже родственники царя и высокие сановники также занимались муссированием этих слухов. Их поведение можно назвать тем более низким, что им доподлинно была известна вздорность этих слухов. Распутин возмущался этими слухами, но по причине чувства своей невиновности не принимал их особенно горячо к сердцу. Я учитывал положение в этом отношении иначе, и считал необходимым выступать против этих слухов и часто упрекал Распутина в его безразличии к этому вопросу.

— Что ты хочешь от меня, — кричал на меня во время таких разговоров Распутин, — что я могу сделать? Разве я виноват, что про меня клевещут таким образом?

— Но недопустимо, чтобы из-за тебя разводились нелепые сплетни на великих княжон, — возражал я. — Ты должен же понять, что каждому жаль бедных девушек, и что даже царицу замешивают в эту грязь.

— Убирайся к черту, — кричал Распутин. — Я ничего не сделал. Люди должны понять, что никто не загрязняет то место, где он кушает. Я служу царю и никогда ничего подобного не осмелюсь сделать. На такую неблагодарность я не способен. И что ты думаешь, что сделал бы царь в таком случае?..

— Все происходит оттого, что ты постоянно гоняешься за юбками. Оставь этих баб. Ты же не можешь пропустить мимо себя ни одной женщины.

— Разве я виноват? — возражал Распутин. — Я не насилую их. Они сами шляются ко мне, чтобы я за них хлопотал у царя. Что мне делать? Я здоровый мужчина и не могу противостоять, когда ко мне приходит красивая женщина. Почему мне не брать их. Не я ищу их, а они приходят ко мне.

— Но этим ты вредишь всей царской семье. Этим ты возмутил против себя всю Россию, дворянство и даже заграницу. Пора кончать. Мне ты не вредишь, но в твоих собственных интересах ты должен покончить с этим, пока не поздно. Иначе ты пропадешь.

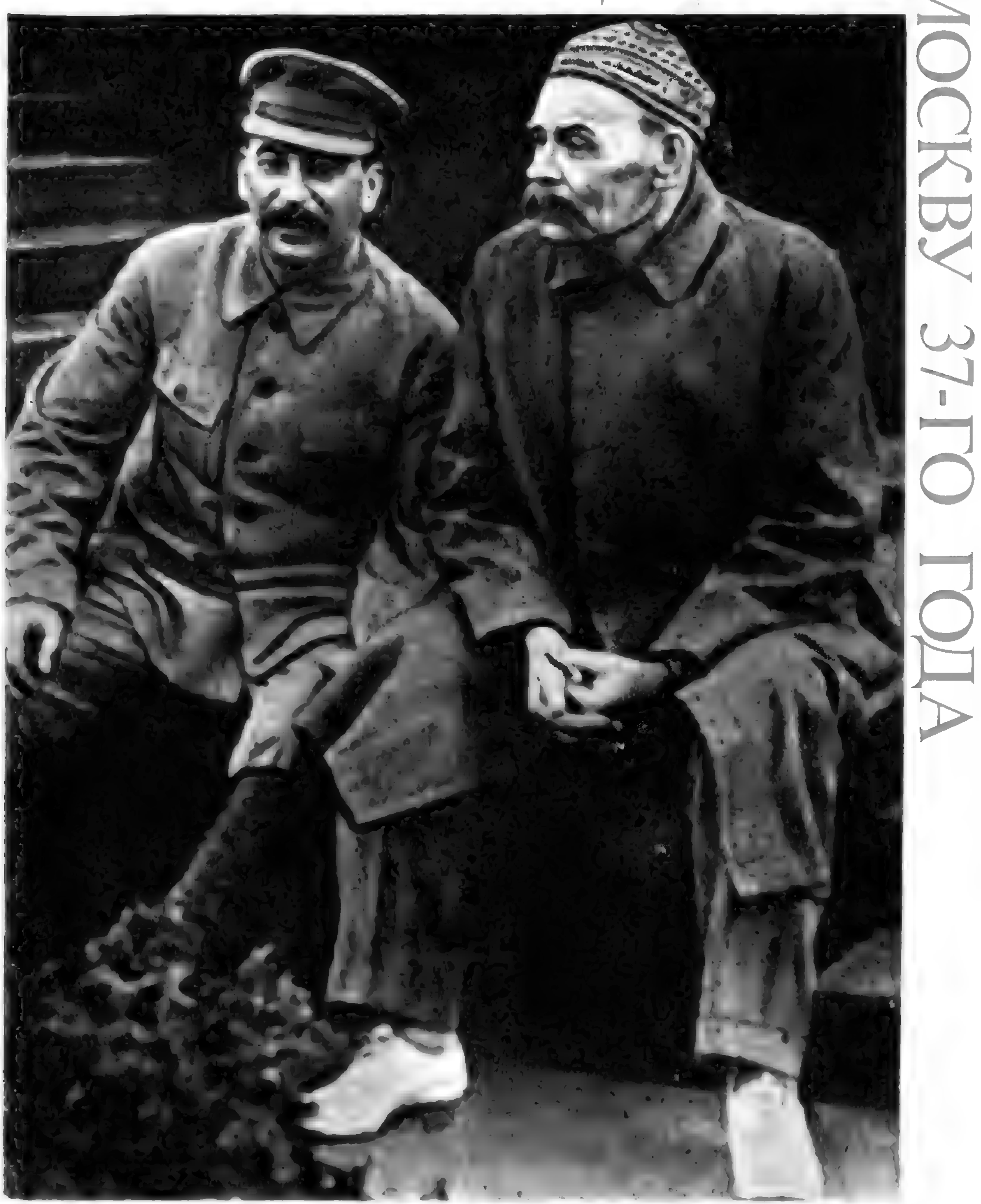
Распутин обращал мало внимания на мои предупреждения. Когда же, мучаясь особенно плохими предчувствиями, я усиленно настаивал, он обыкновенно отвечал:

— Подожди только. Сперва я должен помириться с Вильгельмом, а потом я пойду на богомолье в Иерусалим.

Такого рода разговор как-то раз произошел также в присутствии Вырубовой, сестер Воскобойниковых, госпожи ф. Ден, Никитиной и других. Я видел, что все они со мной соглашались, но ни одна из них не имела мужества открыто высказать свое мнение.

(Продолжение следует)

ПОЕЗДКА В МОСКВУ 37-ГО ГОДА



Мы открываем и изучаем сегодня нашу советскую историю как бы заново. И в этом духовно-созидательном и гражданском процессе важное значение имеют свидетельства очевидцев, мнение которых долгое время от нас пряталось или подавалось в искаженном виде, лишенное правдивости, точного изложения фактов, а иногда и смысла... Книга Лиона Фейхтвангера «Москва 1937» (Гослитиздат, 1937) из разряда именно таких. Изданная сначала в Амстердаме, а потом в Москве, она на многие десятилетия пропала из нашего внимания. Чем же она интересна нам теперь!

С одной стороны — Фейхтвангер не только талантливый писатель, широко известный в мире, но и тонкий психолог, историк, написавший несколько блестящих исторических романов, таких, как «Лже-Нерон», «Гойя...», «Братья Лаутензак»... С другой стороны — он не отличался особыми симпатиями к социализму и коммунистической идеологии, к тому же в пору приезда в СССР он жил в эмиграции, вынужденный покинуть гитлеровскую Германию, с ее оголтелым национализмом и антисемитизмом... Однако он принял приглашение и приехал в Советский Союз, провел у нас более двух месяцев и опубликовал книгу с заметками о поездке, назвав ее «Отчетом о поездке для моих друзей». Во время пребывания в Москве он встречался не только с писателями и интеллигенцией, но и был принят в Кремле Сталиным, с которым имел продолжительную беседу.

Обо всем этом Фейхтвангер написал откровенно и без каких-либо прикрас... Наша писательская общественность не рассчитывала на такой благополучный исход дела. Книга была немедленно переведена и, как утверждают легенды, рукопись перевода показана Сталину, поскольку ему в ней была отведена добрая половина... «Отчет о поездке...» ему понравился, он, будто бы сам, по всей книге сделал в каждой главе смысловые подзаголовки, с тем, чтобы массовый читатель более точно ориентировался в мыслях писателя... И сразу же была издана небывалым по тем временам тиражом в 200 тысяч экземпляров!

Только в предисловии от издательства все же указали, что «книжка содержит ряд ошибок и неправильных оценок. В этих ошибках легко может разобраться советский читатель. Тем не менее книжка представляет интерес и значение, как попытка честно и добросовестно изучить Советский Союз».

Именно этими соображениями руководствовались и мы, выбрав из нее несколько глав для публикации. Очень сожалеем, что, ограниченные журнальным объемом, не имеем возможности напечатать этот очерк целиком, однако утешаем себя надеждой, что это сделает какое-нибудь издательство. Наш сегодняшний плюрализм предполагает и исторический взгляд на огненные годы социалистических свершений и крушений не только изнутри, но и особенно со стороны. Без этой субъективной оценки очевидцев остаются непознанными душевное состояние людей, их чувства и переживания, их заблуждения, наивные мечтания и надежды...

Надо ли объяснять, что Сталин был опытным политическим демагогом, он умел расположить внимательного собеседника и откровенностью, и категоричностью своих суждений, хитростью, и беспристрастностью своих оценок... Несомненно, что Фейхтвангер нашел в Сталине и русском народе спасителей мира, прежде всего, Европы от фашистской клики, жестокость и кровожадность которой он увидел воочию, прежде чем покинул Германию. Эта мысль, эта забота о противопоставлении Гитлеру и фашизму, наверняка не покидала его и при написании этого очерка.

Потому так много надежд он возлагал на Сталина в будущем устройстве Европы, потому так резко судил его врагов и потому на кое-что из увиденного и понятого закрывал глаза... Все во имя спасения человечества от фашизма... Другой, более реальной силы в мире, чем советский народ, он все-таки не видел. И как показало время, не ошибся в своих предположениях.

Лион ФЕЙХТВАНГЕР

Цель этой книги

Эти страницы следовало бы, собственно озаглавить «Москва, январь, 1937 год». Ведь жизнь в Москве течет с такой быстротой, что некоторые утверждения становятся спустя несколько месяцев уже неправильными. Я бродил по Москве с людьми, хорошо ее знающими; пробыв в отсутствии каких-нибудь полгода, они теперь, глядя на нее, покачивали головой: неужели это наш город? Несмотря на это, я все же даю этой книге заглавие «Москва, 1937 год». Я позволю себе такую неопределенность в дате, потому что я не стремлюсь к точной объективной передаче виденного мною; после десятинедельного пребывания такая попытка была бы нелепа. Я хочу только изложить свои личные впечатления для друзей, жадно набрасывающихся на меня с вопросами: «Ну, что Вы думаете о Москве? Что Вы там, в Москве, видали?»

Насколько неправильна нарисованная мною картина

Так как я сознаю, что предлагаемые мною суждения субъективны, я хочу рассказать о том, с какими ожиданиями и опасениями я ехал в Советский Союз. Пусть каждый читатель сам установит, насколько мой взгляд был затемнен предвзятыми мнениями и чувствами.

Вера в разум

Я пустился в путь в качестве «симпатизирующего». Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным. Как бы мало я ни был склонен исключать из частной жизни человека его логическое, нелогическое и чувства, как бы я ни находил жизнь, построенную на одной чистой логике, однообразной и скучной, все же я глубоко убежден в том, что общественная организация, если она хочет развиваться и процветать, должна строиться на основах разума и здравых суждений. Мы с содроганием видели на примере Центральной Европы, что получается, когда фундаментом государства и законов хотят сделать не разум, а чувства и предрассудки. Мировая история мне всегда представлялась великой длительной борьбой, которую ведет разумное меньшинство с большинством глупцов. В этой борьбе я стал на сторону разума, и потому я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой, с самого его возникновения.

Недоверие и сомнение

Однако с самого начала к моим симпатиям примешивались сомнения. Практический социализм мог быть построен только посредством диктатуры класса, и Советский Союз был в самом деле государством диктатуры. Но я писатель, писатель по призванию, а это означает, что я испытываю страстную потребность свободно выражать все, что я чувствую, думаю, вижу, переживаю, невзирая на лица, на классы, партии и идеологии, и поэтому при всей моей симпатии я все же чувствовал недоверие к Москве. Правда, Советский Союз выработал демократическую, свободную конституцию; но люди, заслуживающие

доверия, говорили мне, что эта свобода на практике имеет весьма растрепанный и исковерканный вид, а вышедшая перед самым моим отъездом небольшая книга Андре Жида только укрепила мои сомнения.

Потемкинские деревни

Итак, к границам Советского Союза я подъезжал полный любопытства, сомнений и симпатий. Почетная встреча, оказанная мне в Москве, увеличила мою неуверенность. Мои хорошие знакомые, люди обычно вполне разумные, совершенно теряли здравый ум, когда оказывались среди немецких фашистов, осыпавших их почестями, и я спрашивал себя, неужели и я позволю тщеславию изменить мой взгляд на вещи и людей. Кроме того, я говорил себе, что мне, несомненно, будут показывать только положительное и что мне, человеку, не знакомому с языком, трудно будет разглядеть то, что скрыто под прикрашенной внешностью.

Нападки, вызванные недостатком комфорта

С другой стороны, множество мелких неудобств, осложняющих повседневный московский быт и мешающих видеть важное, легко могло привести человека к несправедливому и слишком отрицательному суждению. Я очень скоро понял, что причиной неправильной оценки, данной Москве великим писателем Андре Жидом, были именного такого рода мелкие неприятности. Поэтому в Москве я приложил много усилий к тому, чтобы неустанно контролировать свои взгляды и выправлять их то в ту, то в другую сторону с тем, чтобы приятные или неприятные впечатления момента не оказывали влияние на мое окончательное суждение.

Дальнейшие трудности на пути к правильному суждению

Иногда же наивная гордость и усердие советских людей мешали мне найти правильное решение. Цивилизация Советского Союза совсем молода. Она достигнута ценой беспримерных трудностей и лишений, поэтому, когда к москвичам приезжает гость, мнением которого — справедливо или несправедливо — они дорожат, они немедленно начинают забрасывать его вопросами: как Вам нравится то, что Вы скажете по поводу этого? Кроме того, я попал в Москву в неспокойное время. Фашистские вожди вели угрожающие речи на тему о войне против Советского Союза; в Испании и на границах Монголии шла борьба; в Москве слушался политический процесс, сильно взволновавший массы. Следовательно, вопросов накопилось немало, и москвичи на них не скупились. Я же, человек медлительный в своих оценках, люблю мысленно обсудить все «за» и «против» и не тороплюсь выражать свое мнение, если не считаю его достаточно продуманным. Вполне естественно, что не все в Москве мне понравилось, а мое писательское честолюбие требует от меня откровенного выражения моего мнения — склонность, причинившая мне немало неудобства. Итак, я, будучи в Советском Союзе, не хотел умалчивать о недостатках, где-либо замеченных мною. Однако найти этим неблагоприятным отзывам нужную форму и слова, которые, не будучи бестактными, имели бы достаточно определенный смысл, представляло не всегда легкую задачу для почетного гостя в такое напряженное время.

Откровенность за откровенность

Я мог с удовлетворением констатировать, что моя откровенность в Москве не вызвала обиды. Газеты помещали мои замечания на видном месте, хотя, возможно, правящим лицам они не особенно нравились. В этих заметках я высказывался за большую терпимость в некоторых областях, выражал свое недоумение по поводу иной раз безвкусно преувеличенного культа Сталина и говорил насчет того, что следовало бы с большей ясностью раскрыть, какими мотивами руководствовались обвиняемые второго троцкистского процесса, признаваясь в содеянном. И в частных беседах руководители страны относились к моей критике с вниманием и отвечали откровенностью на откровенность. Именно потому, что свое мнение я выражал неприкрыто, я получил сведения, которые в противном случае мне едва ли удалось бы получить.

Нужно ли выступать с положительной оценкой Советского Союза?

После моего возвращения на Запад передо мной встал вопрос, должен ли я говорить о том, что я видел в Советском Союзе? Это не являлось бы проблемой, если бы я, как другие, увидел в Советском Союзе много отрицательного и мало положительного. Мое выступление встретили бы с ликованием. Но я заметил там больше света, чем тени, а Советский Союз не любят и слышать хорошее о нем не хотят. Мне тотчас же было на это указано. Я не очень часто выступал в печати Советского Союза со своими впечатлениями. Мои выступления составили менее двухсот строк, при этом они отнюдь не заключали в себе только похвалу; но даже это немногое было здесь, на Западе, ввиду того, что оно не представляло безоговорочного отрицания, искаженно и опошлено. Должен ли я был продолжать говорить о Советском Союзе?

Лучше не надо

Усталый и возбужденный виденным и слышанным, я сказал себе в первые дни после моего возвращения, что моя задача не говорить, а изображать в образах, и я решил молчать и ждать, пока пережитое не воплотится в образы, которые можно запечатлеть.

Но как писатель я все же это делаю

Однако вскоре другие соображения одержали верх. Советский Союз ведет борьбу с многими врагами, и его союзники оказывают ему только слабую поддержку. Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке. Но писатель, увидевший великое, не смеет уклоняться от дачи свидетельских показаний, если даже это великое непопулярно и его слова будут многим неприятны.

Поэтому я и свидетельствую.

Глава II
КОНФОРМИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ

«Вялость» москвичей

Писателю Андре Жиду был представлен поставивший рекорд «стахановец» — рабочий, который, как сообщили Жиду, «не то за пять часов работы выполнил норму восьми дней, не то за восемь часов — норму пяти дней, точно я сейчас уже не помню. Я спросил, — продолжает дальше Жид, — не означает ли это, что прежде этот человек затрачивал восемь дней на выполнение пятичасовой работы». Жид удивляется, что вопрос его был принят холодно и что ему предпочли не отвечать. Это дает Андре Жиду повод для размышлений о «вялости» москвичей. Назвать это «ленью», добавляет он как объективный наблюдатель, «было бы слишком резко». Однако он считает, что в стране, в которой все рабочие действительно работают, стахановское движение было бы излишне. Но у них, в Советском Союзе, говорит он, люди, будучи предоставлены самим себе, немедленно дезорганизуются, поэтому, для того чтобы подстегивать ленивых, было придумано стахановское движение; прежде, говорит он, для этой цели имелся кнут.

Трудолюбие

Поразительные наблюдения делает Андре Жид. Что касается меня, то я должен сказать, что мне бросились в глаза как раз исключительные деловитость, активность, трудолюбие москвичей, которые мчатся по улицам с сосредоточенными лицами, торопливо пересекают, как только вспыхивает зеленый светофор, мостовую, теснятся на станциях метро, бросаются в трамваи, автобусы, суетятся повсюду, как муравьи. На фабриках я почти не видел, чтобы рабочий или работница поднимали глаза на посетителя: настолько они были поглощены собственным делом. Я уже не говорю о тех, кто занимает сколько-нибудь ответственное положение. Эти почти не уделяют времени для еды, они почти не спят и не видят ничего особенного в том, чтобы вызвать по телефону из театра, во время представления, человека только для того, чтобы задать ему какой-нибудь срочный вопрос или позвонить ему в три или четыре часа утра по телефону. Я нигде не встречал такого количества неутомимо работающих людей, как в Москве. С другой стороны, я и сожа-

лением замечал, что на этих людях сказываются вредные последствия переутомления, работа совершенно выматывает их. Почти все москвичи, занимающие ответственные посты, выглядят старше своих лет. Если в Нью-Йорке или Чикаго я не обнаружил американских темпов работы, то я обнаружил их в Москве.

Труд

Пора было бы положить конец этой «Fable convenue»* о лени русского человека. Народ, который еще двадцать лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высоко развитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность. Возможно ли, чтобы ленивые по природе люди могли выполнить такую работу? Допустим, что Советскому Союзу посчастливилось найти необычайно талантливых вождей, но даже если бы все гении, которыми на протяжении веков располагало человечество, были собраны в эти двадцать лет в Москве, они не смогли бы заставить ленивый по природе народ проделать такую гигантскую работу. Неудивительно, что крестьяне и рабочие, пока им приходилось гнуть спину для капиталистов и помещиков, считали свой труд бременем и стремились освободиться от него; с тех пор, как они увидели, что плоды этого труда идут на пользу им самим, отношение их к труду в корне изменилось.

Распределение богатства, а не бедности

Андре Жид, далее, удивляется, и на этот раз с ним удивляются многие другие, по поводу материального неравенства в Советском Союзе. Меня удивляет его удивление. Мне кажется вполне разумным, что Советский Союз до тех пор, пока он не сможет осуществить идеальный принцип завершенного коммунизма: «...каждому по потребностям», следует социалистическому принципу: «...каждому по его труду». Мне кажется, что при построении социализма вопрос ставится не о распределении нужды, а о распределении богатства. Но я не вижу, каким путем можно было бы когда-либо достигнуть распределения богатства, если заставлять тех, от кого ждут высокой производительности труда, вести скудную жизнь, которая неблагоприятно отразится на их работоспособности. Теория о том, что граждане Советского государства, все без исключения, должны жить бедно или по меньшей мере весьма скромно до тех пор, пока все не будут иметь возможности жить зажиточно, — эта теория кажется мне атавистическим пережитком представлений первобытного христианства и скорее благочестивой, нежели разумной. Представители такого рода взглядов напоминают мне одного моего родственника, престарелого баварского чиновника, который во время мировой войны спал на голом полу, потому что люди, сидящие в окопах, не имели постелей.

Бесклассовое общество

Опасение, что материальное неравенство может восстановить только что уничтоженные классы, кажется мне ошибочным. Основным принципом бесклассового общества является, пожалуй, то, что каждый с момента своего рождения имеет одинаковую возможность получить образование и выбрать профессию, и, следовательно, у каждого есть уверенность в том, что он найдет себе применение в соответствии со своими способностями. А этот основной принцип — чего не оспаривают даже самые ярые противники Советского Союза — проведен в СССР в жизнь. Потому-то я и не наблюдал нигде в Москве раболепства. Слово «товарищ» — это не пустое слово. Товарищ строительный рабочий, поднявшийся из шахты метро, действительно чувствует себя равным товарищу народному комиссару. На Западе, по моим наблюдениям, сыновья крестьян и пролетариев, которым удалось получить образование, подчеркивают свой переход в высший класс и стараются держаться в стороне от своих бывших товарищей по классу. В Советском Союзе интеллигенты из крестьян и рабочих поддерживают тесный контакт с той средой, из которой они вышли.

Два класса — борцы и работники

Все же я заметил в Советском Союзе одно разделение. Молодая история Союза отчетливо распадается на две эпохи: эпоху борьбы и эпоху строительства. Между тем хороший борец не всегда является хорошим работником, и вовсе не обязательно, что человек, совершивший великие дела в перод гражданской войны, должен быть пригоден в период строительства. Однако естественно, что каждый, у кого были заслуги в борьбе за создание Советского Союза, претендовал и в дальнейшем на высокий пост, и так же естественно, что к строительству были в первую очередь привлечены заслуженные борцы, хотя бы уже потому, что они были надежны. Однако ныне гражданская война давно стала историей; хороших борцов, оказавшихся негодными работниками, сняли с занимаемых ими постов, и понятно, что многие из них теперь стали противниками режима.

Вредители

Естественно, что как бы ни были успешно завершены пятилетние планы, проведение их не могло не встретить затруднений, — и в некоторых областях были допущены ошибки. Те, кто работает хорошо, с напряжением всех своих сил, чувствуют, что им мешает слабая или неправильная работа других, и озлобляются. Не рассуждая долго, они приписывают злую волю тому, кто просто не имел достаточной силы для больших достижений, и подозревают его во вредительстве.

Правда

То, что акты вредительства были, не подлежит никакому сомнению. Многие, стоявшие раньше у власти — офицеры, промышленники, кулаки, — сумели окопаться на серьезных участках и занялись вредительством. Если, например, в настоящее время проблема снабжения частных лиц кожей и особенно проблема снабжения обувью все еще недостаточно урегулирована, то, несомненно, виновниками этого являются те кулаки, которые в свое время вредили в области скотоводства. Химическая промышленность и транспорт также долгое время страдали от вредительских актов. Если еще до сих пор принимаются чрезвычайно строгие меры к охране фабрик и машин, то на это имеется много причин, и это вполне обосновано.

Вымысел

Постепенно, однако, население охватил настоящий психоз вредительства. Привыкли объяснять вредительством все, что не клеилось, в то время как значительная часть неудач должна была быть наверное просто отнесена за счет неумения.

Примеры

У меня в гостинице обедал как-то один крупный работник. Официант подавал очень медленно. Мой гость вызвал администратора, пожаловался ему и сказал в шутку: «Ну разве это не вредитель?» Но это уже не шутка, когда слабую работу кинорежиссера или редактора объясняют вредительством или когда утверждают, что плохие иллюстрации к книге на тему о строительстве сельского хозяйства нужно отнести за счет злого умысла художника, пытавшегося своим произведением дискредитировать строительство.

Конформизм

Самый факт, что такой психоз мог распространиться, свидетельствует о существовании того конформизма, в котором многие упрекают Советский Союз. Люди Союза, говорят эти критики, обезличены, их образ жизни, их мнения стандартизованы, нивелированы, унифицированы. «Когда говоришь с одним русским, — сказано у Жида, — говоришь со всеми».

Что в этом правда?

В этих утверждениях есть крупинка правды. Не только плановое хозяйство несет с собой определенную стандартизацию продуктов потребления, мебели, одежды, мелких предметов обихода до тех пор, пока производство готовых изделий еще невысоко развито, но и вся общественная жизнь советских граждан стандартизована в широких масштабах. Собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах — все это похоже, как две капли воды, друг на друга, а политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку.

* Распространенной небылице. — Ред.

Три пункта

Если, однако, присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый «конформизм» сводится к трем пунктам, а именно: к общности мнений по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире.

Коммунизм и советский патриотизм

Таким образом, прежде всего, господствует единое мнение насчет того, что лучше, когда средства производства являются не частной собственностью, а всенародным достоянием. Я не могу сказать, чтобы этот конформизм был так уж плох. Да, честно говоря, я нахожу, что он ничуть не хуже господствующего мнения о том, что две величины, порознь равные третьей, равны между собой. И в любви советских людей к своей родине, хотя эта любовь и выражается всегда в одинаковых, подчас довольно наивных формах, я тоже не могу найти ничего предосудительного. Я должен, напротив, признаться, что мне даже нравится наивное патриотическое тщеславие советских людей. Молодой народ ценой неслыханных жертв создал нечто очень великое, и вот он стоит перед своим творением, сам еще не совсем веря в него, радуется достигнутому и ждет, чтобы и все чужие подтвердили ему, как прекрасно и грандиозно это достигнутое.

Большевистская самокритика

Впрочем, такого рода советский патриотизм никоим образом не исключает критику. «Большевистская самокритика» — это никак не пустые слова. В газетах встречаются ожесточеннейшие нападки на бесчисленные, действительные или предполагаемые, недостатки и на руководящих лиц, которые якобы несут ответственность за эти недостатки. Я с удивлением слушал, как яростно критикуют на производственных собраниях руководителей предприятий, и с недоумением рассматривал стенные газеты, вв которых прямо-таки зверски ругали или представляли в карикатурах директоров и ответственных лиц. И чужому тоже не возбраняют честно высказывать свое мнение. Я уже упоминал о том, что советские газеты не подвергали цензуре мои статьи, даже если я в них и сетовал на нетерпимость в некоторых областях, или на чрезмерный культ Сталина, или требовал большей ясности в ведении серьезного политического процесса. Более того, газеты заботились о том, чтобы с максимальной точностью передать в переводе все оттенки моих отрицательных высказываний. Руководители страны, с которыми я говорил, были все без исключения больше расположены выслушивать возражения, чем льстивые похвалы. В Советском Союзе охотно сравнивают собственные достижения с достижениями Запада, сравнивают справедливо, иной раз даже слишком справедливо и, если собственное творение уступает западному, не боятся в этом признаться; да, очень часто они переоценивают успехи Запада, умаляя собственные. Однако, когда чужестранец разменивается на мелочную критику и за маловажными недостатками не замечает значения общих достижений, тогда советские люди начинают легко терять терпение, а пустых, лицемерных комплиментов они никогда не прощают. (Возможно, что резкость, с которой Советский Союз реагировал на книгу Жида, объясняется именно тем, что Жид, находясь в Союзе, все расхваливал и, только очутившись за его пределами, стал выражать свое неодобрение.)

Генеральная линия партии

Вы можете весьма часто услышать и прочитать возражения по поводу тех или иных частностей, но критики генеральной линии партии вы нигде не услышите. В этом вопросе действительно существует конформизм. Отклонений не бывает, или если они существуют, то не осмеливаются открыто проявиться. В чем же состоит генеральная линия партии? В том, что при проведении всех мероприятий она исходит из убеждения, что построение социализма в Советском Союзе на основных участках успешно завершено и что о поражении в грядущей войне не может быть и речи. В этом пункте я тоже не нахожу конформизм таким предосудительным. Если сомнения в правильности генеральной линии еще имели какой-то смысл приблизительно до середины 1935 года, то после середины 1935 года они с такой очевидностью опровергнуты возрастающим процветанием страны и мощью Красной Армии, что consensus omnium* этого пункта равносильно всеобщему признанию здравого смысла.

Конформизм в Москве и Лондоне

В общем и целом конформизм советских людей сводится к всеобщей горячей любви их к своей родине. В других местах это называют просто патриотизмом. Например, если в Англии жестокая потасовка во время футбольного матча немедленно превращается во всеобщую гармонию, как только заиграют национальный гимн, то такое явление редко называют конформизмом.

Любовь к родине, масло, пушки и золото

Правда, между патриотизмом советских людей и патриотизмом жителей других стран существует одно различие: патриотизм Советского Союза имеет с рациональной точки зрения более крепкий фундамент. Там жизнь человека с каждым днем явно улучшается, повышается не только количество получаемых им рублей, но и покупательная сила этого рубля. Средняя реальная заработная плата советского рабочего в 1936 году поднялась по сравнению с 1929 годом на 278 процентов, и у советского гражданина есть уверенность в том, что линия развития в течение еще многих лет будет идти верх (не только потому, что золотые резервы Германской империи уменьшились до 5 миллионов фунтов, а резервы Советского Союза увеличились до 1 400 миллионов фунтов). Гораздо легче быть патриотом, когда этот патриот получает не только больше пушек, но и больше масла, чем когда он получает больше пушек, но вовсе не получает масла.

Поощряемый оптимизм

Следовательно, сам по себе единодушный оптимизм советских людей удивлений не вызывает. Правда, его выражают словами, которые благодаря своему однообразию вскоре начинают казаться банальными. Советские люди только приступают к овладению основами знаний, у них еще не было времени обзавестись богатой оттенками терминологией, и поэтому и патриотизм их выражается пока еще довольно общими фразами. Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки — все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь, они утопают в этом оптимизме и как ораторы и как слушателя. Власти же стараются поддерживать в них это настроение; стандартизованный энтузиазм, в особенности когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности, и этим объясняется то, что в конце концов даже сочувственно настроенные критики начинают говорить о конформизме.

Литература и театр

Этот стандартизованный оптимизм наносит серьезный ущерб литературе и театру, то есть факторам, которые больше всего могли бы способствовать формированию индивидуальностей. Это прискорбно потому, что в Советском Союзе существуют исключительно благоприятные условия именно для расцвета литературы и театра. Я ведь уже указывал на то, что гигантская страна, приобщая к духовной жизни огромное большинство населения, находившееся до сих пор в невежестве, подняла на поверхность громадную массу до сих пор скрытых талантов.

Жажда знания и искусства

Ученым, писателям, художникам, актерам хорошо живется в Советском Союзе. Их не только ценит государство, которое бережет их, балует почетом и высокими окладами; они не только имеют в своем распоряжении все нужные им для работы пособия и никого из них не тревожит вопрос, принесет ли им доход то, что они делают, — они помимо всего этого имеют самую восприимчивую публику в мире.

Жажда чтения

Например, жажда чтения у советских людей с трудом поддается вообще представлению. Газеты, журналы, книги — все

* Всеобщее признание. — Ред.

это проглатывается, ни в малейшей степени не утоляя этой жажды. Я должен рассказать об одном небольшом случае. Я осматривал новую типографию самой распространенной московской газеты «Правда». Мы расхаживали по гигантской ротационной машине, занимающей первое место в мире по своей производительности: в течение двух часов она отпечатывает два миллиона экземпляров газет. Машина в целом похожа на огромный паровоз, и по ее огромной платформе длиной в восемьдесят метров можно разгуливать, как по палубе океанского парохода. Прогуляв по ней около четверти часа, я вдруг обратил внимание на то, что машина занимает только одну половину зала, а другая половина пустует. Я спросил о причине этого. «В настоящее время, — ответили мне, — мы печатаем «Правду» тиражом только в два миллиона. Но у нас имеется еще пять миллионов заявок подписчиков, и как только наши бумажные фабрики будут в состоянии снабжать нас бумагой, мы установим вторую машину».

Грандиозные тиражи

Книги излюбленных авторов также печатаются в тиражах, цифра которых заставляет заграничных издателей широко раскрывать рот. Тираж сочинений Пушкина к концу 1936 года превысил тридцать один миллион экземпляров; книги Маркса и Ленина выпущены еще большими тиражами; только недостаток в бумаге ограничивает цифры тиражей книг популярных писателей. Книгу такого популярного писателя обычно невозможно получить ни в одном книжном магазине, ни в одной библиотеке; при появлении нового издания сразу же выстраиваются очереди покупателей, и весь тираж, если он достигает даже 20 000, 50 000, 100 000 экземпляров, расхватывается в несколько часов. В библиотеках — их 70 000 — книги любимых авторов должны заказываться за несколько недель вперед. Таким образом, эти книги представляют собой нечто ценное, хотя и продаются по весьма дешевым ценам, так что когда мне сказали: «деньги Вы можете оставлять незапертыми, но книги свои держите, пожалуйста, под замком», то я отнесся к этому не просто как к шутке. Книги известных писателей переводятся на множество языков народов Союза, и их читают национальности, названия которых сам автор с трудом может выговорить.

Влияние книг

Я уже упоминал о том, что советские читатели проявляют к книге более глубокий интерес, чем читатели других стран, и о том, что персонажи книг живут для них реальной жизнью. Герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики своему духовному отцу.

Наследство

Научные книги также находят там отклик. Новое издание сочинений Канта, выпущенное тиражом в 100 000 экземпляров, было немедленно расхватано. Тезисы умерших философов вызывают вокруг себя такие же дебаты, как какая-нибудь актуальная хозяйственная проблема, имеющая жизненное значение для каждого человека, а об исторической личности спорят так горячо, как будто вопрос касается качеств работающего ныне народного комиссара. Советские граждане равнодушны ко всему, что не имеет отношения к их действительности, но, найдя однажды, что такая-то вещь имеет какое-то отношение к их действительности, они заставляют ее жить чрезвычайно интенсивной жизнью, и понятие «наследство», которое они очень охотно употребляют, приобретает у них какой-то в высшей степени осязательный характер.

Изобразительные искусства

С изобразительными искусствами дело обстоит так же, как с литературой.

Московские театры

Очень трудно, говоря о московских театрах и фильмах, продолжать повествование в деловом духе и не восторгаться как представлениями, так и публикой. Советские люди — это самые лучшие в мире, самые отважные, полные чувства ответственности режиссеры и музыканты. Как москвичи играют произведения своих собственных композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, «Тихий Дон» молодого Дзержинского, как они играют «Фигаро» или «Кармен» — это не только совершенно в музыкальном отношении: режиссура, актерское исполнение, сценическое оформление — все поражает новизной и необычайной полнотой жизни. Создать произведения, равные произведениям Московского художественного и Вахтанговского театров, театры других стран не могут: у них, не говоря о таланте, недостает для этого ни денег, ни терпения; чтобы достигнуть такого овладения каждой ролью и такой сыгранности ансамбля, нужно репетировать долгие месяцы, иногда и годы, а это возможно только тогда, когда режиссер не чувствует над собой плетки предпринимателя, заинтересованного только в материальной выгоде. Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть; декорации, там где это уместно, например в опере или в некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием. Раньше увлекались экстравагантностью. Увлечение это утихло, вкусы стали умереннее, однако смелые, интересные эксперименты встречаются и поныне, как, например, пьеса «Много шума из ничего» в Вахтанговском театре. Каждая деталь была легко и грациозно подана, смелость спектакля граничила с дерзостью, а сочетание Шекспира с джазом оказалось прекрасным.

Случалось, что в Москве идет одна пьеса одновременно в нескольких театрах, играющих ее в различных стилях, например, «Отелло», «Ромео и Джульетта», а также оперы и пьесы современных авторов. Я смотрел в двух московских театрах пьесу молодого автора Погодина «Аристократы», рассказывающую о жизни трудового лагеря. Вахтанговцы дают спектакль слегка традиционного стиля, превосходный по качеству, отделанный до мельчайших подробностей. Охлопков играет без декораций, слегка только намекая конструкциями, на двух сценах, сообщающихся между собой деревянными мостками, причем одна сцена поставлена на самой середине зрительного зала. Спектакль чрезвычайно стилизованный, в высшей степени экспериментаторский и действенный.

ГЛАВА III

ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА

Демократический диктатор

«Чего Вы, собственно, хотите? — спросил меня шутливо один советский филолог, когда мы говорили с ним на эту же тему. — Демократия — это господство народа, диктатура — господство одного человека. Но если этот человек является таким идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда демократия и диктатура не одно и то же?»

Культ Сталина

Эта шутка имеет очень серьезную почву. Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина, — это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы, пересыпаны прославлениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы.

Примеры

Вот несколько примеров. Если на строительной выставке, которой я восхищался выше, в различных залах установлены бюсты Сталина, то это имеет свой смысл, так как Сталин является одним из инициаторов проекта полной реконструкции Москвы. Но по меньшей мере непонятно, какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта, в остальном оформленной со вкусом. Я был также весьма озадачен, когда на одном докладе о технике советской драмы я услышал, как докладчик, проявлявший до сих пор чувство меры, внезапно разразился восторженным гимном в честь заслуг Сталина.

Основания

Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, свое беспредельное восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный «коммунизм», а конкретного человека — Сталина. Русский склонен к преувеличениям, его речь и жесты выражают в некоторой мере превосходную степень, и он радуется, когда он может излить обуревающие его чувства. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину — оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Народ говорит: Сталин, разумея под этим именем растущее процветание, растущее образование. Народ говорит: мы любим Сталина, и это является самым непосредственным, самым естественным выражением его доверия к экономическому положению, к социализму, к режиму.

Народность Сталина

К тому же Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами. Он больше, чем любой из известных мне государственных деятелей, говорит языком народа. Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медлительно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно. Но главное у Сталина — это юмор, обстоятельный, хитрый, спокойный, порой беспощадный крестьянский юмор. Он охотно приводит в своих речах юмористические строки из популярных русских писателей, он выбирает смешное и дает ему практическое применение, некоторые места его речей напоминают рассказы из старинных календарей. Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией, он не возвышается весьма эффектно на подмостках, в то время как остальные сидят внизу, — нет, он очень быстро устанавливает связь, интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он; им понятны его доводы; они вместе с ним весело смеются над простыми историями.

Техника его речи

Я не могу не привести примера, подтверждающего народный характер сталинского красноречия. Он говорит, например, о конституции и насмехается над официозом «Дейтше Корреспонденц», который заявлвет, что Конституция Советского Союза не может быть признана действительной конституцией, так как Советский Союз представляет не что иное, как географическое понятие.

Бюрократ и Америка

«Что можно сказать, — спрашивает Сталин, — о таких, с позволения сказать, «критиках»? И он рассказывает весело настроенному собранию: «В одном из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того как этот бюрократ навел во «вверенной» ему области «порядок и тишину», истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку, страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмутился: что это за страна, откуда она взялась, на каком таком основании она существует? Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И, сказав это, наложил резолюцию: «Закрыть снова Америку!»

Сталин и его национал-социалистский критик

«Мне кажется, — объясняет Сталин собранию, — что господа из «Дейтше Дипломатиш Политише Корреспонденц» как две капли воды похожи на щедринского бюрократа. Этим господам СССР давно уже намозолил глаза. Девятнадцать лет стоит СССР как маяк, заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая бешенство у врагов рабочего класса. И он, этот СССР, оказывается, не только просто существует, но даже растет, и не только растет, но даже преуспевает, и не только преуспевает, но даже сочиняет проект новой Конституции, проект, возбуждающий умы, вселяющий новые надежды угнетенным классам. Как же после этого не возмущаться господам из германского официоза? Что это за страна, вопят они, на каком таком основании она существует, и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова закрыть, чтобы духу ее не было вовсе? И, сказав это, постановили: закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР, как государство, не существует, что СССР есть не что иное, как простое географическое понятие!

Непослушная действительность

Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, сие от меня не зависит». Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что «закрыть» на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то «сие от них не зависит»...

Москва должна говорить громко, если она хочет, чтобы ее услышал Владивосток

Так говорит Сталин со своим народом. Как видите, его речи очень обстоятельны и несколько примитивны; но в Москве нужно говорить очень громко и отчетливо, если хотят, чтобы это было понятно даже во Владивостоке. Поэтому Сталин говорит громко и отчетливо, и каждый понимает его слова, каждый радуется им, и его речи создают чувство близости между народом, который их слушает, и человеком, который их произносит.

Политический деятель, а не частное лицо

Впрочем, Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто Секретарем Центрального Комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне необходимо; так например, он не присутствовал на большой демонстрации, которую проводила Москва на Красной площади, празднуя принятие Конституции, которую народ назвал его именем. Очень немногое из его личной жизни становится известным общественности. О нем рассказывают сотни анекдотов, рисующих, как близко он принимает к сердцу судьбу каждого отдельного человека, например, он послал в Центральную Азию аэроплан с лекарствами, чтобы спасти умирающего ребенка, которого иначе не удалось бы спасти, или как он буквально насильно заставил одного чересчур скромного писателя, не заботящегося о себе, переехать в приличную, просторную квартиру. Но подобные анекдоты передаются только из уст в уста и лишь в исключительных случаях появляются в печати. О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно не известно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике.

Один тост в кругу друзей

Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде

в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня».

Откровенность и простота

Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я говорил с ним откровенно о безвкусном и не знающем меры культе его личности, и он мне так же откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. Это вполне вероятно: Сталин — мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали — обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь, так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, приходящих на его имя, он отвечает не больше, чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен, почти до невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника.

Сто тысяч портретов человека с усами

На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция.

Партийное постановление

Впрочем, партийные комитеты Москвы и Ленинграда уже вынесли постановления, строго осуждающие «фальшивую практику ненужных и бессмысленных восхвалений партийных руководителей», и со страниц газет исчезли чересчур восторженные приветственные телеграммы.

Великая цель

В общем и целом новая демократическая Конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу, — это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны — хитрость в их великой борьбе была столь же необходима, как и отвага, — Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии.

ГЛАВА VI

СТАЛИН И ТРОЦКИЙ

Борец и работник

В Советском Союзе, как было сказано выше, имеются люди, проявившие себя не только как борцы, но и как организаторы промышленности и сельского хозяйства. Иосиф Сталин представляется мне именно таким человеком. У него боевое, революционное прошлое; он победоносно провел оборону города Царицына; ныне носящего его имя; по его докладу Ленину осенью 1918 года — доклад в семьдесят строк — в общий военный план были внесены коренные изменения. Однако творчество Сталина, организатора социалистического хозяйства, превосходит даже его заслуги борца.

Автопортрет Троцкого

Рисуя свой собственный портрет — прекрасно написанную автобиографию, — Лев Троцкий стремится доказать, что и он, Троцкий, является тоже талантливым человеком, великим борцом и великим вождем строительства. Но мне кажется, что как раз эта попытка, предпринятая лучшим адвокатом Троцкого — им самим, только подтверждает, что его заслуги, в лучшем случае, ограничиваются его деятельностью в период войны.

Великий политик?

Автобиография Троцкого, несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с трагической судьбой. Но образа крупного государственного деятеля она не отражает. Для этого, как мне кажется, оригиналу недостает личного превосходства, чувства меры и правильного взгляда на действительность. Беспримерное высокомерие заставляет его постоянно пренебрегать границами возможного, и эта безмерность, столь положительная для писателя, необычайно вредит концепции государственного деятеля. Логика Троцкого парит, мне кажется, в воздухе; она не основывается на знании человеческой сущности и человеческих возможностей, которое единственно обеспечивает прочный политический успех. Книга Троцкого полна ненависти, субъективна от первой до последней строки, страстно несправедлива: в ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придает книге много прелести, однако такого рода умонастроение вряд ли может подсказать политику правильное решение.

Характерная деталь

Мне кажется, что даже одной мелкой детали достаточно, чтобы ярко осветить превосходство Сталина над Троцким. Сталин дал указание поместить в большом официальном издании «Истории гражданской войны», редактируемом Горьким, портрет Троцкого. Между тем, Троцкий в своей книге злобно отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его качества в их противоположность, и книга его полна ненависти и язвительной насмешки по отношению к Сталину.

Верные слова

Конечно, побежденному человеку трудно оставаться объективным. Это понимает и сам Троцкий, выразивший это в прекрасных словах: «Я не привык, — заключает он в предисловии к своей книге, — рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность событий и найти в этой закономерности свое место — вот первейшая обязанность революционера. И она доставляет высшее личное удовлетворение человеку, который не связывает своей задачи сегодняшним днем».

Видел лучшее, но выбрал худшее

Никто, я думаю, не смог бы более определенно указать на опасность, перед которой оказался Троцкий после своего падения и которой подвергается каждый побежденный, а именно: опасность «рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы». Троцкий сознавал эту опасность. Он понимал, перед свершением какой ошибки он стоит. Он видел эту ошибку, которой суждено было его заманить. Видел, решил ее не делать — и сделал. Зная, что лучше, он выбрал худшее.

Пафос и истерия

Троцкий представляется мне типичным только-революционером, очень полезный во времена патетической борьбы, он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа вместо патетических вспышек. Мир и люди после окончания героической эпохи революции стали представляться Троцкому в искаженном виде. Он стал неправильно воспринимать вещи. В то время как Ленин давно приспособил свои взгляды к действительности, упрямый Троцкий продолжал крепко держаться принципов, оправдавших себя в героическо-патетическую эпоху, но не примени-

мых при выполнении задач, выдвинутых потребностями текущего дня. Троцкий умеет — и это видно из его книги — в момент большого напряжения увлечь за собой массы. Он, вероятно, был способен в патетическую минуту зажечь массы порывом энтузиазма. Но он был неспособен ввести этот порыв в русло, «канализировать» его, обратив на пользу строительства великого государства.

Это умеет Сталин.

Прирожденный писатель

Троцкий прирожденный писатель. Он с любовью рассказывает о своей литературной деятельности, и я ему верю на слово, когда он говорит, что «хорошо написанная книга, в которой встречаешь новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно поделиться собственными мыслями с другими, были и являются для меня наиболее ценными и близкими благами культуры». Трагедия Троцкого заключается в том, что его не удовлетворяла перспектива стать большим писателем. Повышенная требовательность сделала из него сварливого доктринера, стремившегося принести и принесшего несчастья, и это заставило огромные массы забыть его заслуги.

Писатель, но не политик

Я хорошо знаю этот тип писателей и революционеров, хотя и в несколько уменьшенном масштабе. Некоторые руководители германской революции, как Курт Эйснер и Густав Ландауер, имели, правда в миниатюре, немало общего с Троцким. Упорная приверженность к догме, неумение приспособиться к изменившимся условиям, короче говоря, отсутствие практически-политической психологии сделало этих теоретиков и доктринеров только на очень короткое время пригодными к политическим действиям. Большую часть своей жизни они были хорошими писателями, а не политиками. Они не сумели найти пути к народу. Они слишком слабо разбирались в психологии народа и массы. Они соприкасались с массами, но массы не шли к ним.

Расхождения в характере и во взглядах

Не подлежит сомнению, что расхождения во взглядах по решающим вопросам являются причиной большого конфликта между Троцким и Сталиным, и эти расхождения вытекают из глубоких противоречий. Различие характеров этих людей являлось причиной тому, что они приходили к противоположным выводам в важнейших вопросах русской революции — в национальном вопросе, в вопросе о роли крестьянства и возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталин утверждал, что полное осуществление социализма возможно и без мировой революции и что при соблюдении национальных интересов отдельных советских народов социализм может быть построен в одной, отдельно взятой стране; он считал, что русский крестьянин способен построить социализм. Троцкий это оспаривал. Он утверждал, что мировая революция является необходимой предпосылкой для построения социализма. Он упорно держался марксистского учения об абсолютном интернационализме, защищал тактику перманентной революции и, приводя множество логических доводов, настаивал на правильности марксистского положения о невозможности построения социализма в одной стране.

Прав оказался Сталин

Не позднее 1935 года весь мир признал, что социализм в одной стране построен и что, более того, эта страна вооружена и готова к защите от любого нападения.

Что мог сделать Троцкий?

Что же мог сделать Троцкий? Он мог молчать. Он мог признать себя побежденным и заявить о своей ошибке. Он мог примириться со Сталиным. Но он этого не сделал. Он не мог решиться на это. Человек, который раньше видел то, чего не видели другие, теперь не видел того, что было видно каждому ребенку. Питание было налажено, машины работали, сырье добывалось в невиданных ранее размерах, страна была электрифицирована, механизирована. Троцкий не хотел этого признать. Он заявил, что именно быстрый подъем и лихорадочные темпы строительства обусловливают непрочность этого строительства. Советский Союз — «государство Сталина», как он его называл, — должен рано или поздно потерпеть крах и без постороннего вмешательства, и он, несомненно, потерпит крах в случае нападения на него фашистских держав. И Троцкий разражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство.

Попробуем теперь представить себе Сталина.

Первые шаги Сталина

Еще в ранние годы Сталин занимался проблемами, требовавшими своего разрешения немедленно после окончания войны. Уже в 1913 году Ленин писал Горькому: «У нас здесь есть один чудесный грузин, который работает над большой статьей по национальному вопросу, вопросу, которым надлежит серьезно заняться»*.

Трудности восхождения

И Сталин занялся этим вопросом. У него были идеи. Он проявил себя организатором. Но Сталин не ослеплял; он оставался в тени рядом со сверкающим, суетливым Троцким. Троцкий хороший оратор, пожалуй, лучший из существующих. Он очаровывает, Сталин говорит, как я уже указывал, не без юмора, но пространно, рассудительно. Он упорным трудом завоевывал себе популярность, которая другому легко давалась. Своим успехом он обязан только себе.

Он выступает вперед

Блеск Троцкого, не всегда неподдельный, в продолжение многих лет мешал заметить действительные заслуги Сталина. Но наступило время, когда идеи только-борца Троцкого начали становиться ошибочными и подгнивать; первым это заметил и высказал Сталин. Уже в декабре 1924 года Сталину стало окончательно ясно, что, в противоположность прежней теории, построение полного социалистического общества в одной, отдельно взятой стране возможно. Уже тогда он последовательно, более отчетливо и в более острых формулировках, чем Ленин, указал путь к этому построению — усиленная индустриализация страны и объединение крестьян в артели. Он в ясных словах провозгласил то, что до сих пор оспаривалось, а именно: при правильной политике партии решающая часть русского крестьянства может быть втянута в социалистическое общество, и он обосновал это утверждение простыми, убедительными и неопровержимыми аргументами.

Неопровержимые аргументы

Троцкий своей блестящей риторикой опроверг так же неопровержимо неопровержимые аргументы Сталина. Сталин знал, что выдвинутые им аргументы действительно неопровержимы, но он видел, что многие верили в блестящие по форме и фальшивые по содержанию возражения Троцкого.

Неопровержимые дела

Сталин не ограничивался одними правильными высказываниями. Он работал, он шел по правильному пути. Он объединил крестьян в артели, развивал промышленность, возделывал почву для социализма в Советском Союзе и строил социализм. Действительность, создаваемая им, опровергала неопровержимые теории Троцкого.

«Катон на стороне побежденных»

«Боги на стороне победителей. Катон на стороне побежденных». Троцкий не хотел признать себя побежденным. Он выступал с пламенными речами, писал блестящие статьи, брошюры, книги, называя в них сталинскую действительность иллюзией, потому что она не укладывалась в его теории. Троцкий мешал. Съезд партии высказался против него — он был сослан, а затем изгнан из страны.

---

* Цитата неточная. — Ред.

Магия тезисов

Дело Сталина процветало, добыча угля росла, росла добыча железа и руды; сооружались электростанции; тяжелая промышленность догоняла промышленность других стран; строились города; реальная заработная плата повышалась, мелкобуржуазные настроения крестьян были преодолены, их артели давали доходы, — все более возрастающей массой они устремлялись в колхозы. Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его «умножателем» во всех отношениях. Сталинское строительство росло и крепло. Но Сталин должен был заметить, что все еще имелись люди, которые не хотели верить в это реальное, осязаемое дело, которые верили тезисам Троцкого больше, чем очевидным фактам.

Опасные друзья

Да, именно среди людей, другом которых был Сталин, которым он поручил ответственные посты, нашлись некоторые, поверившие больше в слово Троцкого, чем в дело Сталина. Они мешали этому делу, чинили ему препятствия, саботировали его. Они были привлечены к ответственности, их вина была установлена. Сталин простил их, назначил их снова на высокие посты.

Чрезмерно приверженные

Что должен был продумать и прочувствовать Сталин, узнав о том, что эти его товарищи и друзья, невзирая на явный успех его начинаний, все еще продолжали тянуться к его врагу Троцкому, тайно переписывались с ним и, стремясь вернуть своего старого вождя в СССР, старались нанести вред его — Сталина — делу.

В период между двумя процессами

Когда я увидел Сталина, процесс против первой группы троцкистов — против Зиновьева и Каменева — был закончен, обвиняемые были осуждены и расстреляны, и против второй группы троцкистов — Пятакова, Радека, Бухарина и Рыкова — было возбуждено дело; но никому еще не было известно в точности, какое обвинение им предъявляется и когда и против кого из них будет начат процесс. Вот в этот промежуток времени, между двумя процессами, я и увидел Сталина.

Сталин

На портретах Сталин производит впечатление высокого, широкоплечего, представительного человека. В жизни он скорее небольшого роста, худощав; в просторной комнате Кремля, где я с ним встретился, он был как-то незаметен.

Манера говорить

Сталин говорит медленно, тихим, немного глухим голосом. Он не любит диалогов с короткими, взволнованными вопросами, ответами, отступлениями. Он предпочитает им медленные обдуманные фразы. Говорит он очень отчетливо, иногда так, как если бы он диктовал. Во время разговора расхаживает взад и вперед по комнате, затем внезапно подходит к собеседнику и, вытянув по направлению к нему указательный палец своей красивой руки, объясняет, растолковывает или, формулируя свои обдуманные фразы, рисует цветным карандашом узоры на листе бумаги.

Скрытно и откровенно

Тема моего разговора со Сталиным не была заранее согласована. Никакой темы я и не подготовлял, я ждал, что она возникнет сама собой под впечатлением человека и момента. Втайне я боялся, что наш разговор превратится в более или менее официальную, приглаженную беседу, подобную тем, которые Сталин вел два-три раза с западными писателями. Вначале действительно беседа направилась по такому руслу. Мы говорили о функции писателя в социалистическом обществе, о революционном воздействии, которое иногда оказывают даже реакционные писатели, как, например, Гоголь, о классовой принадлежности или бесклассовости интеллигенции, о свободе слова и литературы в Советском Союзе. Вначале Сталин говорил осторожно, общими фразами. Однако постепенно он изменил свое отношение, и вскоре я почувствовал, что с этим человеком я могу говорить откровенно. Я говорил откровенно, и он отвечал мне тем же.

Стиль речи

Сталин говорит неприкрашенно и умеет даже сложные мысли выражать просто. Порой он говрит слишком просто, как человек, который привык так формулировать свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владивостока. Возможно, он не обладает остроумием, но ему, несомненно, свойственен юмор; иногда его юмор становится опасным. Он посмеивается время от времени глуховатым, лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно во многих областях и цитирует, по памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точно.

Своеобразие

Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о демократии и, как я писал выше, об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нем партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он все время оставался глубоким, умным, вдумчивым.

Сталин и «Иуда»

Он взволновался, когда мы заговорили о процессах троцкистов. Рассказал подробно об обвинении, предъявленном Пятакову и Радеку, материал которого в то время был еще неизвестен. Он говорил о панике, в которую приводит фашистская опасность людей, не умеющих смотреть вперед. Я еще раз упомянул о дурном впечатлении, которое произвели за границей даже на людей, расположенных к СССР, слишком простые приемы в процессе Зиновьева. Сталин немного посмеялся над теми, кто, прежде чем согласиться поверить в заговор, требует предъявления большого количества письменных документов; опытные заговорщики, заметил он, редко имеют привычку держать свои документы в открытом месте. Потом он заговорил о Радеке — писателе, наиболее популярной личности среди участников второго троцкистского процесса, — говорил он с горечью и взволнованно; рассказывал о своем дружеском отношении к этому человеку. «Вы, евреи, — обратился он ко мне, — создали бессмертную легенду, легенду о Иуде». Как странно мне было слышать от этого обычно такого спокойного, логически мыслящего человека эти простые патетические слова. Он рассказал о длинном письме, которое написал ему Радек и в котором тот заверял в своей невиновности, приводя множество лживых доводов; однако на другой день, под давлением свидетельских показаний и улик, Радек сознался.

Противоположное в характерах Сталина и Троцкого

Ненавидит ли Иосиф Сталин Льва Троцкого, как человека? Он, вероятно, должен его ненавидеть. Я уже указывал на то, что противоположность их характеров в такой же мере разделяет их, как и противоположность во взглядах. Едва ли можно представить себе более резкие противоположности, чем красноречивый Троцкий с быстрыми, внезапными идеями, с одной стороны, и простой, всегда скрытный, серьезный Сталин, медленно и упорно работающий над своими идеями, — с другой. «Внезапная идея — это не мысль, — сказано у австрийского писателя Грильпарцера. — Мысль знает свои границы. Внезапные идеи пренебрегают ими и, осуществляясь, не сходят с места.» У Льва Троцкого, писателя, — молниеносные, часто неверные внезапные идеи; у Иосифа Сталина — медленные, тщательно продуманные, до основания верные мысли. Троцкий — ослепительное единичное явление. Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий — быстро гаснущая ракета, Сталин — огонь, долго пылающий и согревающий.

Еще о противоположностях

Драматурга, который пожелал бы изобразить в своем произведении две столь противоположные индивидуальности,

обвинили бы в надуманности и погоне за эффектами. Троцкий ловок в речи и жестах, он без труда изъясняется на многих языках, он высокомерен, красочен, остроумен. Сталин скорее монументален; упорной работой в духовной семинарии он завоевывал свое образование. Он не ловок, но он близко знает нужды своих крестьян и рабочих, он сам принадлежит к ним, и он никогда не был вынужден, как Троцкий, искать дорогу к ним, находясь на чужом участке. Разве эта красочность, подвижность, двуличие, надменность, ловкость в Троцком не должны быть Сталину столь же противны, как Троцкому твердость и угловатость Сталина?

Ненависть

Сталин видит перед собой грандиознейшую задачу, которая требует отдачи всех сил даже исключительно сильного человека; а он вынужден отдавать очень значительную часть своих сил на ликвидацию вредных последствий блестящих и опасных причуд Троцкого. «Небольшевистское прошлое Троцкого это не случайность» — говорится в завещании Ленина. Сталин, несомненно, постоянно помнит об этом, и он видит в Троцком человека, который благодаря своей большой гибкости может в любой момент, уверенный в правильности своих убеждений, повернуть обратно к своему небольшевистскому прошлому. Да, Сталин должен ненавидеть Троцкого, во-первых, потому, что всем своим существом тот не подходит к Сталину, а во-вторых, потому, что Троцкий всеми своими речами, писаниями, действиями, даже просто своим существованием подвергает опасности его — Сталина — дело.

Ненависть-любовь

Но отношения Сталина и Троцкого друг к другу не исчерпываются вопросами их соперничества, ненависти, различия характеров и взглядов. Великий организатор Сталин, понявший, что даже русского крестьянина можно привести к социализму, он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников, способностей которых он никоим образом не недооценивает. Он заведомо окружил себя многими людьми, близкими по духу Троцкому. Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела, есть что-то трогательное.

ГЛАВА VII

ЯСНОЕ И ТАЙНОЕ В ПРОЦЕССАХ ТРОЦКИСТОВ

Процессы против троцкистов

С другой стороны, тот же Сталин решил в конце концов вторично привлечь своих противников-троцкистов к суду, обвинив их в государственной измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, а также в подготовке террористических актов. В процессах, которые своей «жестокостью и произволом» возбудили против Советского Союза мир, противники Сталина, троцкисты, были окончательно разбиты. Они были осуждены и расстреляны.

Личные ли это мотивы Сталина?

Объяснять эти процессы — Зиновьева и Радека — стремлением Сталина к господству и жаждой мести было бы просто нелепо. Иосиф Сталин, осуществивший, несмотря на сопротивление всего мира, такую грандиозную задачу, как экономическое строительство Советского Союза, марксист Сталин не станет, руководствуясь личными мотивами, как какой-то герой из классных сочинений гимназистов, вредить внешней политике своей страны и тем самым серьезному участку своей работы.

Участие автора в процессах

С процессом Зиновьева и Каменева я ознакомился по печати и рассказам очевидцев. На процессе Пятакова и Радека я присутствовал лично. Во время первого процесса я находился в атмосфере Западной Европы, во время второго — в атмосфере Москвы. В первом случае на меня действовал воздух Европы, во втором — Москвы, и это дало мне возможность особенно остро ощутить ту грандиозную разницу, которая существует между Советским Союзом и Западом.

Впечатление от процессов за границей

Некоторые из моих друзей, люди вообще довольно разумные, называют эти процессы от начала до конца трагикомичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по содержанию, так и по форме. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих, видевших в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик; им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир.

В Западной Европе — одно

И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.

В Москве — другое

Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда.

Проверка

Я взял протоколы процесса, вспомнил все, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, и еще раз взвесил все обстоятельства, говорившие за и против достоверности обвинения.

Маловероятность обвинений против Троцкого

В основном процессы были направлены, прежде всего, против самой крупной фигуры — отсутствовавшего обвиняемого Троцкого. Главным возражением против процесса являлась мнимая недостоверность предъявленного Троцкому обвинения. «Троцкий, — возмущались противники, — один из основателей Советского государства, друг Ленина, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого он был, стремился разжечь войну против Союза и подготовить его поражение в этой войне? Разве это вероятно? Разве это мыслимо?»

Вероятность обвинений против Троцкого

После тщательной проверки оказалось, что поведение, приписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию.

(Продолжение следует)

ЗАПРЕЩЕННАЯ ГЛАВА

Николай КУЗНЕЦОВ

ПРОЗРЕНИЕ



Фото из семейного архива

Сын крестьянина из глухой архангельской деревни, простой матрос становится командиром крейсера, командующим флотом, народным комиссаром. Уже сам жизненный путь такого человека интересен.

Николай Герасимович Кузнецов пришел на корабли, когда началось интенсивное строительство большого морского и океанского флота. Окончив Военно-морское училище, а затем Военно-морскую академию, он служил на Черноморском флоте, работал в Испании военно-морским атташе, главным военно-морским советником, был командующим Тихоокеанским флотом и в тридцать пять лет возглавил Военно-Морской флот Советского Союза.

Однако жизнь Н. Г. Кузнецова сложилась весьма драматично: в 52 года он оказался в отставке «без права работать во флоте».

Он стал писать очерки, статьи, книги. Одна из них — «Накануне». В ней раскрыт большой пласт истории — жизнь и деятельность флота и, в определенной степени, страны, с 20-х годов до начала Великой Отечественной войны.

Первое издание книги вышло в 1966 году, второе — в 1969-м. Книга пользуется неизменным вниманием читателей.

Новое, третье издание книги «Накануне», готовящееся к выходу в Воениздате, дополнено не публиковавшимися ранее материалами из архива Н. Г. Кузнецова.

Летом 1988 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в звании Адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова (посмертно).

Его именем назван крейсер.



ноябре 1937 года командующий Тихоокеанским флотом Г. П. Киреев был вызван в Москву.

Помнится, как я провожал его на вокзале. Давая мне указания, он был несколько рассеян и взволнован. А когда собрались в его вагоне, он показался мне даже печальным. Не с таким настроением обычно выезжали в Москву. Но до Киреева так уже уехали М. В. Викторов и Г. С. Окунев и... не вернулись. Предчувствие не обмануло Киреева. Вскоре до меня дошли слухи, что он арестован.

Я ожидал нового командующего, считая себя еще недостаточно опытным для такого огромного морского театра. В конце декабря получил телеграмму, в которой сообщалось о моем назначении командующим с присвоением очередного звания, и без рассуждений, хотя и с некоторой опаской, занял этот пост. Молодость, избыток сил в какой-то степени компенсировали недостаток опыта.

По мере того как я вникал в обязанности командующе флотом, возникали все новые и новые проблемы. Хлопот и беспокойств было много.

В памяти вставали события минувшего года, которым я сразу не придал должного значения. Моя работа в Испании была, очевидно, тому причиной. Издалека все выглядит иначе. Вспомнилось, как главный военный советник Г. М. Штерн вызвал меня из Картахены в Валенсию. Я вошел к нему в кабинет и не услышал обычных шуток. Григорий Михайлович не сказал даже своего излюбленного «Салуд, амиго», только молча протянул мне телеграмму из Москвы. В ней сообщалось об аресте М. Н. Тухачевского, И. П. Уборевича, И. Э. Якира и других крупных военачальников. То были люди, стоявшие у руля Вооруженных Сил. Что могло толкнуть их на чудовищные преступления, в которых они обвинялись?

Из арестованных я знал одного Якира, да и то видел лишь однажды, когда он посетил в 1933 году крейсер «Красный Кавказ». Григорий Михайлович Штерн был хорошо знаком со всеми, кто упоминался в телеграмме. Он долгое время работал в Москве, встречался с ними и на службе, и во внеслужебной обстановке. Я видел, что он поражен не менее меня.

Мы были в кабинете вдвоем. Штерн рассказывал о Тухачевском и Якире, которых знал особенно хорошо. Он высоко оценивал их деятельность в годы гражданской войны, их роль в строительстве Вооруженных Сил. Так что же произошло? Штерн только пожимал плечами, но не высказывал никаких сомнений в правильности ареста. Тем меньше мог в этом сомневаться я. Вернувшись в Картахену, я информировал товарищей-добровольцев о телеграмме, прочитанной в Валенсии. Не могли мы себе представить тогда, что никакого преступления не было, что арестованные военачальники — жертвы страшного произвола.

Вернувшись в Москву из Испании, я узнал о новых арестах. В первый день, еще по дороге в наркомат, я встретился на Гоголевском бульваре с К. А. Мерецковым. Мы познакомились с ним еще в Испании.

— Куда спешишь? — остановил он меня.

— Да вот, надо доложиться своему начальству.

— Если Орлову, то можешь не торопиться, он вчера арестован.

Я сперва не поверил Кириллу Афанасьевичу. Но такими вещами не шутят. Весть подтвердили другие, и все равно она не укладывалась в голове. Я вспоминал беседы с Владимиром Митрофановичем Орловым, все, что знал о нем. Были у него свои слабости, недостатки, но чтобы такой человек изменил Родине?!

А товарищи рассказывали все о новых арестах. На Черном море были арестованы Н. Моралев, А. Зельинг, А. Рублевский... Я считал их честными советскими командирами, все силы отдававшими флоту. В них я до сих пор не сомневался. Как же так?

— Если ошибка — разберутся, — успокоил меня товарищ, с которым я осторожно поделился своим недоумением.

И я принял тогда эту удобную формулу, еще глубоко не задумываясь над происходящим. Но теперь, во Владивостоке, когда арестовывали людей, мне подчиненных, за которых я отвечал, успокаивать себя тем, что где-то разберутся, я уже не мог. Было непонятно и другое — как арестовывают людей, даже не поставив в известность командующего? Я высказал свои мысли члену Военного совета Я. В. Волкову. Оказалось, он лучше осведомлен о происходящем. Значит, мне не доверяют, что ли?

Некоторое время я еще терпел. Но в феврале 1938 года прокатилась новая волна арестов. Опять я узнавал о них уже задним числом. Как-то позвонил комендант береговой обороны А. Б. Елисеев, спросил, не знаю ли я, что случилось с командиром артиллерийского дивизиона на острове Русский. Я ничего не знал.

— Три дня не выходит на службу, — сообщил Елисеев. — Видно, арестовали.

Предположение подтвердилось. Тогда я отправил телеграмму в Центральный Комитет партии. Я писал, что считаю неправильной практику местных органов, которые арестовывают командиров без ведома командующего, даже не поставив его в известность о происшедшем. Ответа не получил.

Прошло несколько дней, и ко мне приехал начальник краевого НКВД Диментман.

— Имейте в виду, — сказал он в тоне сердитого внушения, — не всегда надо кого-то извещать, если арестовывают врага народа.

Я ответил, что обращался не к нему, а в Центральный Комитет партии, а это не только мое право, но и обязанность.

Диментман ушел весьма раздраженный, но аресты с этого дня прекратились. Несколько недель все было тихо.

В начале апреля 1938 года мне сообщили, что на Тихий океан выезжает Нарком ВМФ П. А. Смирнов. Я уже довольно давно ждал встречи с ним. Надо было доложить о нуждах флота, получить указания по работе в новых условиях. Мы понимали, что реорганизация Управления Военно-Морскими Силами связана с большими решениями по флоту. Страна начинала усиленно наращивать свою морскую мощь.

Одновременно с созданием наркомата был создан Главный военный совет ВМФ. В его состав входили А. А. Жданов, П. А. Смирнов, несколько командующих флотами, в том числе и я. Но пока на заседания совета меня не вызывали. В то время поездка с Дальнего Востока в Москву и обратно отнимала не менее двадцати суток. Начальство, видимо, не хотело из-за одного заседания на такой срок отрывать меня от флота. Словом, я считал приезд нового наркома вполне естественным и своевременным, тем более что на Северном флоте и на Балтике он уже побывал. Но все вышло не так, как я предполагал.

— Я приехал навести у вас порядок и почистить флот от врагов народа, — объявил Смирнов, едва увидев меня на вокзале.

Остановился нарком на квартире члена Военного совета Волкова, с которым они были старинными приятелями. Первый день его пребывания во Владивостоке был занят беседами с начальником НКВД. Я ждал наркома в штабе. Он приехал лишь около полуночи.

— Завтра буду заниматься с Диментманом, — сказал Смирнов в конце разговора и пригласил меня присутствовать.

В назначенный час у меня в кабинете собрались П. А. Смирнов, член Военного совета Я. В. Волков, начальник краевого НКВД Диментман и его заместитель по флоту Иванов. Диментман косо поглядел на меня и словно перестал замечать. В разговоре он демонстративно обращался только к наркому.

Я впервые увидел, как решались тогда судьбы людей. Диментман доставал из папки лист бумаги, прочитывал фамилию, имя и отчество командира, называл его должность. Затем сообщалось, сколько имеется показаний на этого человека. Никто не задавал никаких вопросов. Ни деловой характеристикой, ни мнением командующего о названном человеке не интересовались. Если Диментман говорил, что есть четыре показания, Смирнов, долго не раздумывая, писал на листе: «Санкционирую». Это означало: человека можно арестовать. Я в то время еще не имел оснований сомневаться в том, что

материалы НКВД достаточно серьезны. Имена, которые назывались, были мне знакомы, но близко узнать этих людей я еще не успел. Удивляла, беспокоила только легкость, с которой давалась санкция.

Вдруг я услышал: «Кузнецов Константин Матвеевич». Это был мой однофамилец и старый знакомый по Черному морю. И тут я впервые подумал об ошибке.

Когда Смирнов взял перо, чтобы наложить роковую визу, я обратился к нему:

— Разрешите доложить, товарищ народный комиссар!

Все с удивлением посмотрели на меня, точно я совершаю какой-то странный, недозволенный поступок.

— Я знаю капитана первого ранга Кузнецова много лет и не могу себе представить, чтобы он оказался врагом народа.

Я хотел рассказать об этом человеке, о его службе подробнее, но Смирнов прервал меня:

— Раз командующий сомневается, проверьте еще раз, — сказал он, возвращая лист Диментману.

Тот бросил на меня быстрый недобрый взгляд и прочитал следующую фамилию.

Когда совещание окончилось, я задержался в кабинете. Ко мне заглянул Я. В. Волков. Тоном товарища, умудренного годами, он сказал, как бы предупреждая от новых опрометчивых поступков:

— Заступаться — дело, конечно, благородное, но и ответственное...

Я понял недосказанное. «За это можно и поплатиться», — видимо, предупреждал он.

В следующий вечер, когда процедура получения санкций на аресты продолжалась, Смирнов и Диментман разговаривали подчеркнуто лишь друг с другом и все решали сами.

Прошел еще день. Смирнов посещал корабли во Владивостоке, а вечером опять собрались в моем кабинете.

— На Кузнецова есть еще два показания, — объявил Диментман, едва переступив порог. Он торжествующе посмотрел на меня и подал Смирнову бумажки. Тот сразу же наложил резолюцию, наставительно заметив:

— Враг хитро маскируется. Распознать его нелегко. А мы не имеем права ротозейничать.

Это звучало как выговор. Скажу честно, он меня смутил. Я подумал, что был не прав. Ведь вина Кузнецова доказана авторитетными органами!

После совещания Волков снова заглянул ко мне. Он говорил покровительственно и вместе с тем ободряюще. Дескать, ошибки бывают у каждого, но впредь надо быть осторожнее и умнее, не бросать слов на ветер.

К. М. Кузнецова арестовали, всех остальных тоже. Их было немало. Недаром короткое рассмотрение этих «обвинительных» листов потребовало трех вечеров. Я ходил под тяжелым впечатлением арестов. Мучили мысли о том, как это люди, служившие рядом, могли стать заклятыми врагами и почему мы не замечали их перерождения? Что органы государственной безопасности могут действовать неправильно — в голову все еще не приходило. Тем более я не допускал мысли о каких-то необычных путях добывания показаний.

Нарком провел два дня в море, побывал в Ольго-Владимирском районе. В оперативные дела он особенно не вникал. Может быть, ему, человеку, не имевшему специальной морской подготовки, это было и трудно. Зато он очень придирчиво интересовался всюду людьми, «имевшими связи с врагами народа».

Пребывание Смирнова подходило к концу. К сожалению, решить вопросы, которые мы ставили перед ним, он на месте не захотел, приказал подготовить ему материалы в Москву. Я заготовил проекты решений. Смирнов взял их, но ни одна наша просьба так и не была рассмотрена до самого его смещения. На месте нарком решил лишь один вопрос, касавшийся Тихоокеанского флота, но и это решение было не в нашу пользу. Речь шла о крупном соединении тяжелой авиации. Во Владивостоке Смирнов сказал мне, что командование Особой Краснознаменной Дальневосточной армии просит передать это соединение ему. Я решительно возражал, доказывал, что бомбардировщики хорошо отработали взаимодействие с кораблями, а если их отдадут, мы много потеряем в боевой силе. Смирнов заметил, что авиация может взаимодействовать с флотом и будучи подчиненной армии.

— Нет, — возражал я. — То будет уже потерянная для флота авиация.

Я сослался на испанский опыт, показывавший, как важно, чтобы самолеты и корабли были под единым командованием. Все это не приняли в расчет. Приказ был отдан, нам оставалось его выполнять.

Потом Смирнов признался мне, что принял решение потому, что его уговорил маршал Блюхер. Наши «уговоры» на наркома действовали меньше.

В день отъезда П. А. Смирнова мы собрались, чтобы выслушать его замечания. Только уселись за стол, опять доложили, что прибыл Диментман.

— Вот показания Кузнецова, — объявил он, обращаясь к Смирнову.

Смирнов пробежал глазами бумажку и передал мне. Там была всего одна фраза, написанная рукой моего однофамильца: «Не считая нужным сопротивляться, признаюсь, что я являюсь врагом народа».

— Узнаете почерк? — спросил Смирнов.

— Узнаю.

— Вы еще недостаточно политически зрелы, — зло сказал нарком.

Я молчал. Диментман не скрывал своего удовольствия. Только Волков пытался как-то сгладить остроту разговора, бросал реплики о том, что комфлот, мол, еще молодой, получил теперь хороший урок и запомнит его, будет лучше разбираться в людях...

Признание Кузнецова совсем выбило у меня почву из-под ног. Теперь я уже не сомневался в его виновности. В дальнейшем, выступая по долгу службы, я придерживался официальной версии, говорил об арестованных, как было принято тогда говорить, как о врагах народа. Но внутри что-то грызло меня...

Забегая вперед, расскажу еще о некоторых событиях, связанных с репрессиями. Через несколько месяцев в Москве был арестован П. А. Смирнов. Вместо него наркомом назначили Н. Н. Фриновского. Никакого отношения к флоту он в прошлом не имел, зато был заместителем Ежова.

Весть об аресте Смирнова принес мне Я. В. Волков. Чувствовал он себя при этом явно неловко, был растерян. Ведь еще недавно Волков подчеркивал свое давнее знакомство и дружбу с наркомом. Я не стал ему об этом напоминать.

Вскоре после того во Владивосток прилетел известный летчик В. К. Коккинаки. Он совершил рекордный беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток. Коккинаки был моим гостем. Мы быстро и крепко с ним подружились. Тогда во Владивостоке Владимир Константинович со свойственной ему неугомонной пытливостью интересовался действиями кораблей, был со мной на учениях флота. Когда он собирался домой, мы устроили прощальный ужин. Во Владивосток приехали Г. М. Штерн и П. В. Рычагов. Мы ждали еще члена Военного совета Волкова, а он все не шел. Я позвонил к нему на службу, домой. Сказали, срочно выехал куда-то, обещал скоро быть, да вот до сих пор нет. Пришлось сесть за стол без него.

Ужин был уже в разгаре, когда пришел секретарь Волкова и таинственно попросил меня выйти.

— Волкова арестовали, — тихо сообщил он и виновато опустил голову, словно уже приготовился отвечать за своего начальника.

Такая судьба постигла людей, еще совсем недавно с удивительной легкостью дававших санкции на арест многих командиров.

Уже работая в Москве, я пробовал узнать, что произошло со Смирновым. Мне дали прочитать лишь короткие выдержки из его показаний. Смирнов признавался в том, что, якобы, умышленно избивал флотские кадры. Что тут было правдой — сказать не могу. Больше я о нем ничего не слышал.

Я. В. Волкова я вновь увидел в 1954 году. Он отбыл десять лет в лагерях, находился в ссылке где-то в Сибири. Приехав в Москву, прямо с вокзала пришел ко мне на службу. Я сделал все необходимое для помощи ему. Когда мы поговорили, я попросил Якова Васильевича зайти к моему заместителю по кадрам и оформить нужные документы.

— Какой номер его камеры? — спросил, горько улыбнувшись, бывший член Военного совета. Тюремный лексикон въелся в него за эти годы.

Надо еще сказать и о Константине Матвеевиче Кузнецове. Весной 1939 года я приехал во Владивосток из Москвы вместе с А. А. Ждановым. Мы сидели в бывшем моем кабинете. Его

хозяином стал уже И. С. Юмашев, принявший командование Тихоокеанским флотом после моего назначения в наркомат. Адъютант доложил:

— К вам просится на прием капитан первого ранга Кузнецов.

— Какой Кузнецов? Подводник? — с изумлением спросил я.

— Он самый.

Меня это так заинтересовало, что я прервал разговор и, даже не спросив разрешения А. А. Жданова, сказал:

— Немедленно пустите!

Константин Матвеевич тут же вошел в кабинет. За год он сильно изменился, выглядел бледным, осунувшимся. Но я ведь знал, откуда он.

— Разрешите доложить, освобожденный и реабилитированный капитан первого ранга Кузнецов явился, — отрапортовал он.

Андрей Александрович с недоумением посмотрел на него, потом на меня. «К чему такая спешка?» — прочитал я в его глазах.

— Вы подписывали показание, что являетесь врагом народа? — спросил я Кузнецова.

— Да, там подпишешь. — Кузнецов показал свой рот, в котором почти не осталось зубов.

— Вот что творится, — обратился я к Жданову. В моей памяти разом ожило все, связанное с этим делом.

— Да, действительно, обнаружилось много безобразий, — сухо отозвался Жданов и не стал продолжать этот разговор.

Прошли годы. Теперь, после XX и XXII съездов партии, все встало на свое место. Решительно вскрыты преступления времен культа личности Сталина, но мы не можем о них забыть. Вновь и вновь возвращаюсь к тому, как мы воспринимали эти репрессии в свое время. Проще всего сказать: «Я ничего не знал, полностью верил высокому начальству». Так и было в первое время. Но чем больше становилось жертв, тем сильнее мучили сомнения. Вера в непогрешимость органов, которым Сталин так доверял, да и вера в непогрешимость самого Сталина постепенно пропадала. Удары обрушивались на все более близких мне людей, на тех, кого я хорошо знал, в ком был уверен. Г. М. Штерн, Я. В. Смушкевич, П. В. Рычагов, И. И. Проскуров... Разве я мог допустить, что и они враги народа?

Помню, я был в кабинете Сталина, когда он вдруг сказал:

— Штерн оказался подлецом.

Все, конечно, сразу поняли, что это значит: арестован.

Там были люди, которые Штерна отлично знали, дружили с ним. Трудно допустить, что они поверили в его виновность. Но никто не хотел показать и тени сомнения. Такова уж была тогда обстановка. Про себя, пожалуй, подумали: сегодня его, а завтра, быть может, меня. Но открыто этого сказать было нельзя. Помню, как вслух, громко, сидевший рядом со мной Н. А. Вознесенский произнес по адресу Штерна лишь одно слово: «Сволочь!»

Не раз я вспоминал этот эпизод, когда Николая Алексеевича Вознесенского постигла та же участь, что и Г. М. Штерна.

После войны я сам оказался на скамье подсудимых. Мне тоже пришлось испытать произвол времени культа личности, когда «суд молчал». Произошло это после надуманного и глупого дела Клюевой и Роскина, обвиненных в том, что они якобы передали за границу секрет лечения рака. Рассказывали, что Сталин в связи с этим сказал:

— Надо посмотреть по другим наркоматам.

И началась кампания поисков «космополитов». Уцепились и за письмо Сталину офицера-изобретателя Алферова. Он сообщал, что руководители прежнего Наркомата Военно-Морского Флота (к тому времени объединенного с Наркоматом обороны) передали англичанам «секрет» изобретенной им парашютной торпеды и секретные карты подходов к нашим портам. И пошла писать губерния! Почтенные люди, носившие высокие воинские звания, вовсю старались «найти виновных» — так велел Сталин.

Я знал этих людей, знал об их личном мужестве, проявленном в боях, знал о том, что они безукоризненно выполняли обязанности по службе. Но тут команда была дана, и ничто не могло остановить машину. Под колеса этой машины я попал вместе с тремя заслуженными адмиралами, честно и безупречно прошедшими через войну. Это были В. А. Алафузов, Л. М. Галлер и Г. А. Степанов.

Сперва нас судили «судом чести». Там мы документально доказали, что парашютная торпеда, переданная англичанам в порядке обмена, была уже рассекречена, а карты представляли собой перепечатку переведенных на русский язык старых английских карт.[1] Следовательно, ни о каком преступлении не могло быть и речи. Я лично докладывал об этом И. С. Юмашеву — тогдашнему главнокомандующему Военно-Морским Флотом и Н. А. Булганину — первому заместителю Сталина по Наркомату Вооруженных Сил. Оба только пожимали плечами. Вмешаться они не захотели, хотя и могли.

Вопреки явным фактам политработник Н. М. Кулаков произнес на «суде чести» грозную обвинительную речь, доказывая, что нет кары, которой мы бы не заслужили. Помню, как после этого «суда» я сказал своим товарищам по несчастью:

— Сейчас ничего не сделать. Законы логики просто не действуют.

Оставалось лишь мужественно перенести беду. А беда только начиналась. Сталину так доложили о «деле», что он распорядился передать всех нас суду Военной коллегии Верховного суда. А там не шутят.

Четыре советских адмирала оказались на скамье подсудимых в здании на Никольской улице. И теперь, проходя мимо этого дома, я не могу не взглянуть с тяжелым чувством на окна с решетками, за которыми мы ждали тогда приговора.

Председатель Военной коллегии Ульрих знал, чего требуют от него, и не особенно заботился хоть как-то обосновать приговор. Для этого и видимых материалов не имелось. Но ему было важно осудить.

Лично с Ульрихом я знаком не был, но много раз видел его на различных заседаниях. Сидя в приемных или в зале Большого Кремлевского дворца, где проходили сессии Верховного Совета СССР, я не раз наблюдал за ним. Невысокого роста, с небольшими подстриженными усиками, красными щеками и слащавой улыбкой, Ульрих никак не походил на человека, выносившего суровые приговоры. Напротив, он слыл человеком добрым, словоохотливым и доступным. Но это только казалось...

За короткой судебной процедурой последовал долгий, мучительный перерыв. Около трех часов ночи объявили приговор: В. А. Алафузов и Г. А. Степанов были осуждены на десять лет каждый, Л. М. Галлер — на четыре года. Я был снижен в звании «на три сверху», — как говорили моряки, то есть до контр-адмирала.

Во время суда для меня было отрадно лишь одно — поведение подсудимых. Никто не пытался свалить «вину» на другого, облегчить свою участь за счет товарищей. Так старался держать себя и я. Мне на суде была как будто предложена лазейка.

— Вы не давали письменного разрешения на передачу торпеды? — задали мне вопрос.

— Если разрешение дал начальник штаба, значит, имелось мое согласие. Таков был порядок в наркомате, — заявил я.

Впоследствии все, привлекавшиеся к суду по этому делу, были полностью реабилитированы. А. А. Чепцов (генерал-лейтенант юстиции), стряпавший в свое время обвинительный материал для Военной коллегии, в 1953 году обратился ко мне за советом, как лучше обосновать нашу невиновность. Я ему ответил:

— Как закрутил, так и раскручивай.

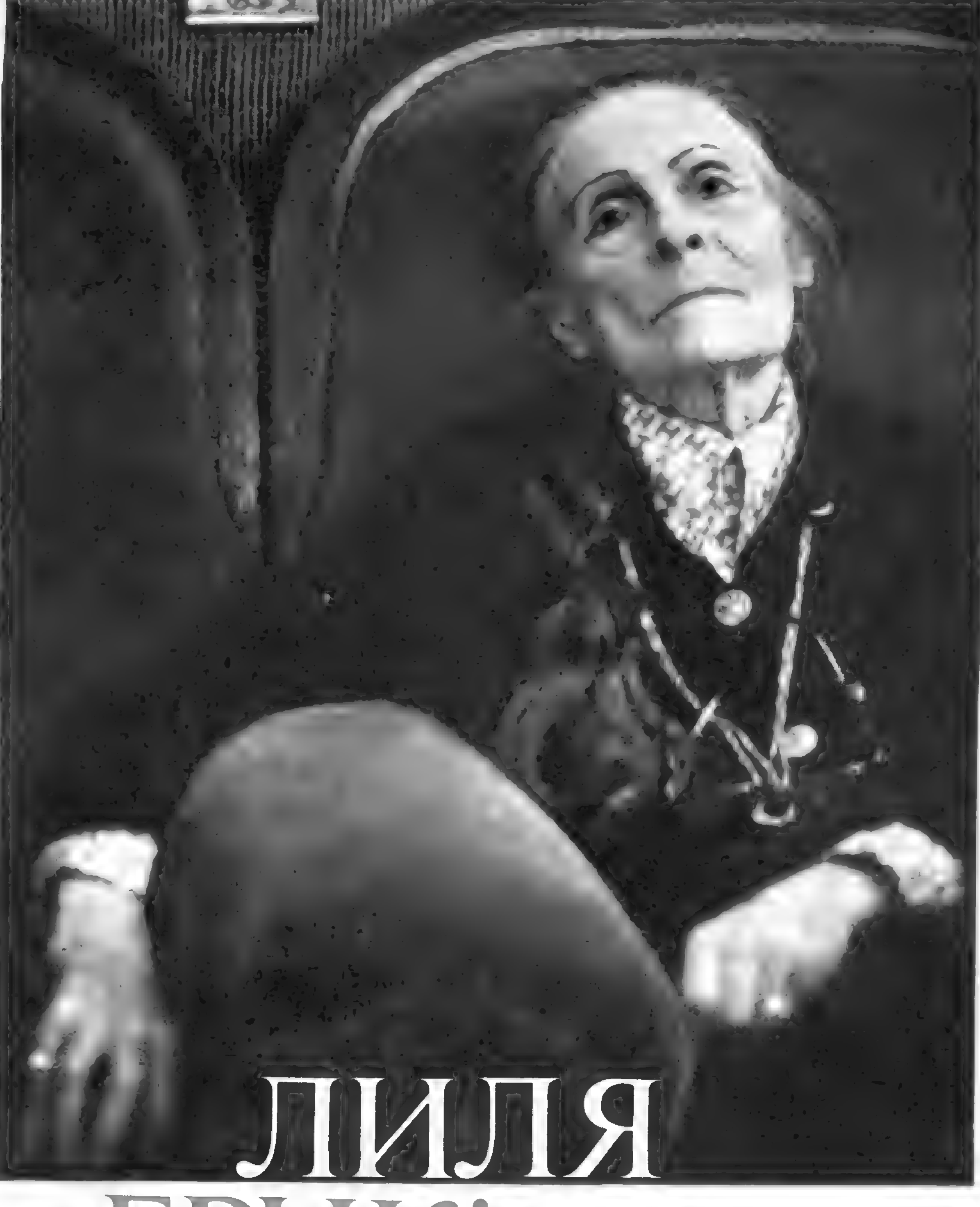
Реабилитация была полная, но не все осужденные на том процессе дождались ее. Лев Михайлович Галлер, один из организаторов нашего Военно-Морского Флота, отдавший ему всю свою жизнь, так и умер в тюрьме.

То, что пришлось пережить нам, — было лишь одним из многих трагических случаев, порожденных грубым нарушением законности в период культа личности Сталина. И этот случай — отнюдь еще не самый трагический. Произвол, ломавший судьбы людей, наносил тяжелый ущерб всему нашему делу, ослаблял могущество нашей социалистической Родины. Одно неотделимо от другого.

---

[1] — Адмирал Ю. А. Пантелеев, проводивший по указанию свыше вместе с начальником гидрографии ВМФ Я. Я. Лапушкиным экспертизу, отмечал, что ими был составлен акт по результатам экспертизы, в котором доказывалось, что торпеда и карты несекретные. Этот акт был передан начальнику Главного морского штаба для доклада Сталину. Однако к делу его не приобщили.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА



Снимок этот сделал в 1974 году известный фотомастер Владимир Богданов в день рождения Л. Ю. Брик, у нее дома, в любимом кресле...

ЛИЛЯ БРИК: «Я НЕ МОГЛА ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ...»

Лиля Юрьевна БРИК (1891—1978) прожила долгий век. Сразу после окончания гимназии она вышла замуж за учителя Осипа Максимовича Брика. В 1915 году ее сестра Эльза (Эльза Триоле, в 1928 году стала женой Луи Арагона) познакомила Бриков с Маяковским. С этих пор и до самой смерти Лиля Юрьевна жила именем и делом поэта. Многие произведения Маяковский посвятил ей и даже в прощальном письме выразил свою давнюю волю: «Лиля — люби меня».

Она умерла 4 августа 1978 года, на даче в Переделкино, приняв смертельную дозу снотворного. Мужество ее не покинуло и в эту минуту сознательного расставания с жизнью, поскольку она решила, что своей физической беспомощностью (у нее был тяжелый перелом, кости не срастались) причиняет боль и беспокойство близким.

А ровно десять лет назад, 7 мая 1979 года, вместе с Василием Абгаровичем Катаняном мы исполнили последнюю волю Лили Юрьевны Брик. В ее завещании была сделана приписка: «Пепел мой прошу не хранить, а развеять где-нибудь по полю. Лиля Брик. 19 февраля 1959 года».

Вместе с ее мужем Василием Абгаровичем, его племянником, и моими давними друзьями Геннадием Поповым и Георгием Григорьяном мы выполнили ее волю. День был ветренный, глаза слепило яркое солнце, по молодым озимям гуляли легкие волны... Поле было огромное, звенигородская деревушка Бушарино торчала у горизонта... Мы двинулись от дальнего леса в сторону домов... Ветер порывисто подхватывал пепел вместе с цветами, зависавшими в воздухе...

В последнее время стало появляться много публикаций, посвященных Л. Ю. Брик. В них, как правило, присутствует и письмо Лили Юрьевны к Сталину. В свое время (март 1968 года) у нас с ней был об этом обстоятельный разговор, записанный мной на магнитофонную пленку. С появлением публикаций я нашел расшифровку этой беседы и с удивлением заметил, что многие детали, связанные с письмом, как бы прошли незаметно даже в интересной публикации В. А. Катаняна («Дружба народов», 1989, № 3). Эту главу из воспоминаний он мне читал много лет назад. Как в последний час своей жизни, так и в ноябре 1935 года, Л. Ю. Брик проявила большое мужество, о котором почему-то говорится мимоходом... Потому возникла необходимость привести этот рассказ, записанный на пленку, а также письмо и резолюцию-ответ...

Обстоятельства, вызвавшие в ноябре 1935 года мое письмо к Сталину, весьма драматичны. Вы это поймете, познакомившись с его содержанием... У меня сердце стыло от боли, от страданий за Маяковского...

В ту пору я жила в Ленинграде, моим мужем был Виталий Маркович Примаков, имя которого и после XX съезда партии и посмертной реабилитации несправедливо замалчивается... Он был участником Октябрьского восстания в Петрограде, героем гражданской войны, когда командовал корпусом Червонного казачества, а в тридцатых годах — крупным советским военачальником. И в тридцать седьмом году он был уничтожен вместе с лучшими нашими военными...

Виталий Маркович много лет дружил с Мальковым — комендантом Кремля, который в эту должность заступил при Ленине. И ему в свое время было поручено расстрелять после суда эсерку Каплан, покушавшуюся на Владимира Ильича в 1918 году.

По совету Примакова, который очень сочувствовал моим переживаниям и считал, что, кроме Сталина, этих вопросов никто не решит, я написала письмо. Он выразил готовность через Малькова помочь, чтобы письмо попало в руки самого Сталина. Только посоветовал мне писать коротко, не больше странички машинописного текста, иначе, мол, Сталин не прочтет... Я сказала: «Напишу то, что я считаю нужным. А не прочтет, ну и пусть не прочтет, что же поделаешь! Других-то помощников все равно нет...»

Я знала, что Сталин был знаком с творчеством Маяковского. Несколько раз Володя выступал в Кремле, читал стихи и поэму о Ленине. Принимали его хорошо, присутствовали члены правительства и руководители партии. В январе 1930 года, в Большом театре, на вечере памяти Ленина Маяковский читал последнюю часть из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Успех был необычайный, правительственная ложа во главе со Сталиным отбила ладони и приветствовала Маяковского стоя... Да, слава у него была громкая, что говорить!..

Мне не составило большого труда составить очень конкретное письмо, указав на вопиющие факты невнимания к памяти Маяковского... Мы прочитали его с друзьями, что-то уточнили, что-то поправили, и уже готовый текст я передала Примакову...

Надо ли говорить, как я волновалась, но страха не испытывала, хотя уже тогда, после убийства Кирова, аресты стали обычным делом... Мне искренне хотелось помочь Володе... Он заслуживал этого...

Словом, все обошлось хорошо. Как оказалось, Сталин в тот же день получил мое письмо... А утром мне позвонили из ЦК и попросили немедленно приехать в Москву. Назвали номер московского телефона, по которому я должна позвонить, и предупредили, что сразу же примут по поводу моего письма.

Меня принял секретарь ЦК Ежов... Сначала он подробно расспросил, все ли так обстоит на самом деле, как изложено в письме. Я сказала: «Вы же могли бы это уже проверить». Он усмехнулся: «А мы уже проверили...» Малоприятный, надо сказать, был человек... Продержал меня полтора часа.

При мне позвонил Мехлису, в редакцию «Правды». Сказал ему: «Брик обратилась с письмом к хозяину...» И прочитал ему резолюцию Сталина. «Надо соответствующим образом подать в завтрашнем номере. Открыть эпоху Маяковского. Брик к тебе приедет...»

Потом позвонил Булганину — председателю Моссовета. Прочитал ему мое письмо, потом, после многозначительной паузы, добавил: «А вот что думает об этом хозяин!»

Когда он закончил разговор с Булганиным, я спросила, нельзя ли мне переписать на свой экземпляр резолюцию Сталина. Она была написана размашисто, но аккуратно, по диагонали листа, наискось, красным карандашом прямо по моему тексту... И он разрешил...

Из ЦК я поехала в редакцию «Правды», там готовилась полоса с крупным аншлагом: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. И. Сталин». Она вышла на следующее утро...

И все покатилось, нарастая, как снежный ком... Площадь имени Маяковского, метро, театр, музей, собрание сочинений, конкурс на памятник... И везде и всюду Маяковский отныне стал первый признанный советский классик... Но, как это всегда у нас бывает, ретивые исполнители, конечно же, переусердствовали...

Обернулось ли это добром для Володи?! Пастернак считал, что Маяковского сразу же принялись насаждать, как картошку при Екатерине. Едко сказано, и не им одним. Многие из почитателей Володи осуждали меня... Но ему завидовали при жизни, а после указующего перста Сталина втайне завидовали еще больше... Я сожалела, что в тень ушел ранний Маяковский — великий лирик, а на первый план выдвинули публициста, агитчика, горлана... В том должно быть есть моя вина, но уж такое было время... Я не могла поступить иначе. Было бы бо́льшей несправедливостью замолчать великого поэта, как на долгие годы замолчали его современника Сергея Есенина.

Когда я думаю о судьбе этих великих русских поэтов, я не сужу себя строго за письмо Сталину... Маленькие поэтики боялись поэтического могущества Есенина и Маяковского... Поначалу им удалось упрятать поэзию того и другого, но только поначалу... Ведь жить-то им века!..

Тогда же, в марте 1968 г., Лиля Юрьевна Брик передала мне экземпляр своего письма с резолюцией Сталина, указав, что этот, в отличие от «самиздатовских» вариантов, точно соответствует оригиналу, который она хранила в сейфе.

В тексте письма сохранены орфография и пунктуация оригинала.

24.11.35

Дорогой товарищ Сталин,
после смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за матерьялами, сведениями, фотографиями.

Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.

Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он еще никем не заменен и как был так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.

Но далеко не все это понимают.

Скоро шесть лет со дня его смерти, а «Полное собрание сочинений» вышло только наполовину, и то — в количестве 10 000 экземпляров.

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.

Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.

После смерти Маяковского в постановлении Правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Материалы разбросаны. Часть находится в Московском литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея о Маяковском почти не упоминается.

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков пер. 15). Одна квартира — Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался переселить.

Квартира очень характерная для быта Маяковского — простая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей обстановки великого поэта революции — не лучше ли восстановить все это, пока мы живы.

Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде — в площадь и улицу имени Маяковского. Но и это не осуществлено.

Это основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как например: по распоряжению Наркомпроса из учебника современной литературы на 1935-й год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо». О них и не упоминается.

Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающих поколений.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление — и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского.

Л. БРИК

Мой адрес:
Ленинград, ул. Рылеева, 11, кв. 3
телефоны: коммутатор Смольного, 25—99
и Некрасовская АТС 2-90-69

Резолюция Сталина:
Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик по-моему правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте пожалуйста все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов.

Привет! И. Сталин

Публикация Ар. КУЗЬМИНА

ПРИМАКОВ ВИТАЛИЙ МАРКОВИЧ (1897—1937), советский военачальник. Родился в м. Семеновка (г. Семеновка Черниговской обл.). С июня 1917 — член Киевского комитета большевиков. Член ВЦИК 2-го созыва. В январе 1918 по решению Украинского советского правительства сформировал полк Червонного казачества. Во время гражданской войны командовал кавалерийским полком, бригадой, 8-й кавалерийской дивизией, 1-м конным корпусом Червонного казачества. В 1924—25 начальник Высшей кавалерийской школы в Ленинграде. В 1925—30 — в командировках в Китае, Афганистане и Японии. В 1931—33 — командующий корпусом. В 1933—35 — зам. командующего Северо-Кавказским военным округом, зам. инспектора высших военно-учебных заведений. С 1935 — зам. командующего Ленинградским военным округом.

МАЛЬКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ (1887—1965), советский государственный деятель. Член партии с 1904. Участник революции 1905—07. После Февральской революции — член Гельсингфорского комитета РСДРП и Центробалта. Во время Октябрьского вооруженного восстания — командир отряда матросов, участвовал в штурме Зимнего дворца. С 29 октября (11 ноября) — комендант Смольного, с марта 1918 первый комендант Московского Кремля. В 1920—22 — в Красной Армии, затем на хозяйственной и советской работе. Член ВЦИК.

ЕЖОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1895—1938), советский партийный и государственный деятель. Родился в Петербурге. Член партии с 1917. Принимал участие в Октябрьской революции и гражданской войне. С 1922 — на руководящей партийной работе. В 1929—30 — зам. наркомзема СССР. В 1930—34 — зав. Распредотделом и Отделом кадров ЦК ВКП(б). На XVII съезде избран членом ЦК и членом Комиссии партконтроля при ЦК. С того же времени — член Оргбюро ЦК партии, зам. председателя КПК и зав. Промышленным отделом ЦК. Член ВЦИК и ЦИК. С 1935 — секретарь ЦК ВКП (б), председатель КПК. На VII конгрессе Коминтерна избран членом Исполкома Коминтерна. С 1936 по 1938 — нарком внутренних дел.

БУЛГАНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895—1975), советский партийный и государственный деятель. Родился в Нижнем Новгороде (г. Горький). Член КПСС с 1917. В 1918—22 — на руководящей работе в органах ВЧК, в 1922—27 — в органах ВСНХ. Р 1937 — директор Московского электрозавода. С 1931 — председатель Моссовета. С 1937 — пресе́датель Совнаркома РСФСР, в 1938—41 — зам. председателя Совнаркома СССР и одновременно председатель Правления Госбанка СССР. В 1941—43 — член военных советов ряда фронтов. С 1944 — член ГКО и зам. наркома Обороны СССР. В 1947 — министр Вооруженных Сил СССР и, одновременно, зам. председателя Совмина СССР. В 1949 переходит на работу только в качестве зам. председателя Совмина СССР. На XVII съезде партии избран в состав ЦК. В 1948—58 — член Политбюро ЦК партии. Депутат Верховного Совета СССР в 1937—62.

МЕХЛИС ЛЕВ ЗАХАРОВИЧ (1889—1953), советский государственный и партийный деятель. Родился в Одессе. Член партии с 1918. В годы гражданской войны — комиссар бригады, дивизии и Правобережной группы войск на Украине. Затем работал в наркомате Рабкрина и в аппарате ЦК партии. С 1930 — на руководящей работе в газете «Правда». В 1937—40 — начальник ГПУ Красной Армии, а затем — нарком Госконтроля СССР. В годы Великой Отечественной войны — член военных советов ряда фронтов и армий На XVII и XIX съездах партии избирался членом ЦК.

ТАЛЬ (?), предположительно — зав. отделом печати в ЦК ВКП (б) в начале 1930-х годов. — Ред.

Валентин СОРОКИН

ЦВЕТЕТ МОЙ САД, КАЧАЕТСЯ В НОЧИ...



Родился я на хуторе с поэтическим названием — Ивашла, шла ива... Родниковый, речной, горный, лесной край Башкирии, народ песенный, добрый и сильный. Отец мой — лесник, дед — лесник; Сорокины — потомственные лесоводы на Урале. Вся мужская здоровая часть в войну сражалась еще под Москвою... После войны мой хутор вымер, исчез с лица земли. Вдовы и сироты покинули прадедовские места, ушли в города... Так и я оказался на Челябинском металлургическом заводе.
Работая в мартене, учился в вечерней школе. Окончил Высшие литературные курсы. В Союз писателей СССР принят в 1962 году. С тех пор вышло несколько поэтических книг: «Мне Россия сердце подарила», «За журавлиным голосом», «Посреди холма», «Лирика», «Озерная сторона», «Нас двое», «Хочу быть ветром»... Поэмы — «Евпатий Коловрат», «Дмитрий Донской», «Бессмертный маршал»...
В 1974 г. присуждена премия Ленинского комсомола, в 1986 г. — Государственная премия РСФСР им. А. М. Горького.
Своими литературными учителями считаю Людмилу Татьяничеву, Бориса Ручьева, Василия Федорова, помню их всегда и благодарю сердцем...

* * *

Цветет мой сад, качается в ночи,
И нелегко понять на самом деле:
Звезда ль трепещет, лебедь ли кричит,
Иль яблоня выходит из метели.

Люблю я поздний одинокий дом
И под луной умолкшую дорогу.
Но вдруг заблещет молния
и гром
Издалека подкатится к порогу.

В текучей мгле, в раскрылиях огня,
Совсем, как на сказителя поверья,
Бегут ручьи и травы на меня,
Торопятся озера и деревья.

И странное рождается в груди,
Высокое желание обета:
«Спасибо вам,
ведь где-то впереди
Для нас еще горит заря рассвета.

Мы друг за друга насмерть постоим
И выдюжим в трагедии возможной!..»
Я возвращаюсь к яблоням своим
Тропою детскою, неосторожной.

Поля, холмы, вот роща, вот река,
Вот сенокос, отец и мать устали.
Дымит костер, кружатся облака.
И на земле — ни пороха, ни стали.

Не тронут мир страдальческой слезой.
Равны и не обмануты народы.
И я, незащищенный и босой,
За пазухою доброй у природы.

И синь колеблется на берегу.
И если мне действительно удастся,
Клянусь,
я непременно сберегу
Любую иволгу и государство!..

* * *

Там, на Севере дальнем, печальное озеро есть:
Окружёно когда-то суровым кольцом лагерей,
Принимало оно мертвецов от барачных дверей, —
Не считали живых мы, а сгибших тем боле не счесть.

Штабелями их клали в буранные дни у ворот,
А весною, когда баламутились горные воды,
Их бросали на дно черноликие стражи свободы,
И об этом не знал измордованный русский народ.

Сифилитик Лаврентий за подлость расстрелян давно,
Но приучены щуки, такая манера у рыб:
Нападать на покойников — у замороженных глыб,
Шумно вспенивать струи, как пить, озоруя, вино.

А эпоха тюремная длилась десятками лет.
Миллионы безвинных охрана во мрак уводила.
И холеные щуки, размером почти с крокодила,
Поджидали кормёжку, а нет ее нынче и нет...

И однажды по озеру в лодке охотник поплыл,
Было тихо, и вдруг средь дремотной волны на него,
А в тайге никого и на береге, впрямь, никого, —
Кривозубые щуки надвинулись, грозен их пыл!

Отлетела от лодки и рядом крутилась щепа,
Обломилось весло, и рептилии злобней, чем волки,
Продолжали атаку,
и меткой уральской двустволки
Началась беспощадная в кра́е медвежьем пальба.

Щучьи трупы, огромные, горбились вслед за кормой,
И запомнив историю тяжкую, прочно, навек,
Неизвестный охотник, нормальный лесной человек,
Из разбойных глубин возвратился впервые домой.

ПРОТЕСТ

Памяти героев Куликовской битвы —
Пересвета и Осляби...

Как вам спится, герои, сыны,
Под ветрами сегодняшней были,
Если в центре великой страны
Нет покоя на вашей могиле?

Обворован, осмеян собор,
И в огромной проржавленной стыни
Замыкает железный забор
Ваших душ золотые святыни.

Вот они, под землею, лежат,
По сказаниям веще знакомы.
Меч в ладонях еще не разжат,
Не подня́ты над бровью шеломы.

Куликовское поле гудит
И Москва задохнулась от боли:
Ну какой затаенный бандит
Держит русскую храбрость в неволе?!

Наши деды и наши отцы,
Наши внуки услышат ли снова
Вести радостной звень-бубенцы
С града Киева или со Пскова?..

Чуть колышется знамени шелк.
И березы горюнятся в росах.
Это вам поклониться пришел
Амбразуру закрывший Матросов.

Слава Родины, грей и свети,
Уплывай в голубую безмерность,
Справедливо сметая с пути
Черный пепел запрета на верность!

КАЗНЕННЫЙ ПОЭТ

Памяти Павла Васильева

Славянский лоб, сибирской хватки сил
Волос веселых вьющаяся прядь...
Зачем тебя упрятала могила,
Неужто не наскучило стрелять?

Та кровь и ныне у ворот стучится:
Она лилась обильнее дождя
На липкий плащ
полночного убийцы,
На мраморные статуи вождя,

Которому со всех полей России,
Как нищие, как жалкие слепцы,
Сказания и оды приносили
Обманутые временем творцы.

А ты от копей, где червонцем грезил
Промышленник во сне и наяву,
Гнал табуны широкогрудых песен
Кандальною дорогой на Москву.

НА ВОЛХОВСКОМ ФРО

Юрию Бондареву

Рытвины, траншеи, ветер, ветер
Пролетает из конца в конец.
Не отсюда ль, молча, на рассвете
В рукопашную шагнул отец?

Грело солнце мартовское вяло.
Черный лес придерживал пургу.
И лежал он долго,
кровь стекала
И следы твердели на снегу.

И уже почти под небесами
Мать моя почудилась ему,
Молодая, с карими глазами,
Восьмерых вела нас к одному:

— Ты куда собрался и попутно
Их бедой надумал угостить,
Воевать и умирать не трудно,
Тяжелей детей твоих растить! —

Древний Волхов не плескал волною,
Не качали плёсы лебедей.
Это было с ним, а не со мною,
Я сегодня старше и седей.
Но, как прежде, на моем Урале,
Будоража огнеликий чад,
Голосом высокорудной стали
Поезда на станциях кричат.

И полны неодолимой неги,
Рассекая крыльями простор,
Лебедята
рвутся от Онеги
К глубям златоустовских озер.

Где шумели кедры — там чащобы,
Синева спадает с горных плеч...
Сберегли мы Родину, еще бы
Нам края великие сберечь!

Анатолий ЖУКОВ



ЖУКОВ Анатолий Николаевич, автор романов и повестей «Дом для внука», «Судить Адама!», «Один», «Осенний крик журавлей», «Здравствуй, отец» и др., родился в степном заволжском селе Новая Хмелевка, ныне вымершем и исчезнувшем совсем. А в тех степях прошло его детство, отрочество и юность; там он с двенадцати лет, как все подростки военной поры, узнал нескончаемые крестьянские заботы, оттуда ушел служить в армию. Потом будут годы работы в районной газете, учебы в Литературном институте, поездки по стране от молодежного журнала, работа в издательстве... Но и тридцать лет спустя не забудет он земляков из степного Заволжья — в публикуемом здесь рассказе они встают как живые, и писатель вновь печалится вместе с ними о родной земле, об исчезнувших островках человеческого жилья; вспоминает добрые времена, обещавшие им беспечальное будущее. И от этого, как давно заметил В. Шекспир, становится еще горше:

Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды.

РАССТРЕЛЯЙ ЕГО, ГОСПОДИ!

Монолог пенсионерки

— Заходи, милый, заходи, женихом будешь. Чего усмехаешься, переспела для тебя? А ведь еще утром ничего была — причесывалась у зеркала и радовалась. Да ты сам погляди: лицо круглое, без морщиночки, руки полные, белые, ни старческой «гречки» тебе, ни дряблости... Проходи, не бойсь. Я бражки сейчас налью, и кайф словишь, с Дарьей-москвичкой побалдеешь. Проходи в красный угол. Во-от.

Бражка у меня на травке настоена, на зверобое, — ду-ушистая! Не хочешь? И правильно, ни к чему прежде времени. Завтра Троица, завтра и до бражки доберемся, заряди её, Господи. Я ведь тоже не больно охотница, но если праздник, если компания — куда с добром! Может, компотику? Есть клубничный, и такой свежий, будто вчера закручивала. Вот эту баночку уговорим? Тогда держи открывалку, хозяйничай, вот стаканы.

А я гляжу в окошко — приезжий с «дипломатом», не торопится, разглядывает... А ты, значит, родное село повидать, а села-то и нету, опоздал, дорогой товарищ. Семь избенок и десять пенсионеров, ты одиннадцатый. Если останешься. Оставайся, а! Дачником? Тишина, покой, травка зеленая...

Ну, ладно, пей компот и слушай, а я стану рассказывать, сохрани меня, Господи. Что рассказывать? Как что — жизнь свою, неужто не интересно! Мне ведь шестьдесят восемь, больше полвека физический ударный труд, громыхни его, Господи, плюс одинокая бабья доля и семейный одноконный воз. Мужик-то у меня еще не запрягся, как уж выпрягся, одна везла всю дорогу. Ты слушай, я ничего не утаю, все расскажу, как есть и было, слушай.

Пережила я судьбу крепостную трудную, до культа и при культе и всех людей жалею. И вождя всех времен

жалею, он не виноват, расстреляй его, Господи; мы, дураки, виноваты, что подчинялись. Но и мы не виноваты, если подумать. Остались без царя, без барина, без бога, как нам еще-то. А жили бедно. И не было у меня свадьбы в розовом рассвете, не было на свадьбе конфет «птичье молоко» и ананасных тортов, а была одна работа всю жизнь. И мой Ванька отличил меня за работу, проходимец. Ловкая, сказал, надежная, на тебя и детей не страшно оставить. И с двоими оставил, алкаш несчастный, — крепи, баба, мощи народа. В Москву завез, лимитчик, и оставил, разбомби его, Господи. А Москва слезам не верит, в Москве еще больше надо работать, там и вода купленная. Слыхал?.. И где я только не вкалывала! На заводе — токарем и слесарем, на ткацкой фабрике и ковровом комбинате — ткачом. Шум и сейчас гудит в ушах, как вспомню... Потом ремзавод, автомобильный ЗИЛ, потом ДОК, потом дворником, лифтером... Весь арапский труд изучила в подробности. Худющая была страсть, ни один мужик не глядел. Да и наплевать! На двух ведь работах лет десять мантулила, чтобы птенчиков своих прокормить да выучить. На одной должности с семьей есть нечего, на две перешла — некогда стало. А от работы не будешь богатой, а будешь горбатой...

Яичко всмятку не съешь?.. Ну ладно, бывает, что и нельзя, я чайку сейчас поставлю. Ты слушай, а я буду ставить и рассказывать. Не люблю без дела, расщепай его, Господи. Буду самовар станить и говорить. Самовар у меня, видишь, старинный, с медалями, как ветеран труда. Он тут ждал меня, в заколоченной избе, после смерти мамы. Никто не позарился, все как есть осталось. Деревенские старики — святые люди, трудовое богатство берегут, уважают, о боге думают. И бог, он тоже труды любит. А как же еще? Человек живет, пока работает. А если встанешь утром, а делать нечего, считай и жить тебе нечего. Для чего? А я всегда жила нагруженная. Детей вырастила, пенсия подошла, а работала: надо растить внуков. А как же, не чужие ведь.

Вот каникулы начнутся — привезут, ухаживай, бабка, не помни зла. А я и не помню, я человек простой, семь классов образованья, не то, что мои соседи в Москве. Плачут, бывало: жизнь не состоялась! А сам большой человек, гвардии подполковник, она — великая художница по текстилю, по коврам, дед — какой-то консультант или консул, громыхни его, Господи. Суп ели с бутербродами, бутерброды с черной икрой. И кофий пьют не так, не со сливками или сгущенкой, а с «наполеоном». Коньяк такой, французский — не слыхал? — полсотни бутылка. Ну и что? Разок поехали они в круиз вокруг Европы, отдохнули, нагляделись, возвращаются — зеркальный сервант пустой, сын весь хрусталь пропил. И плачут опять: жизнь не состоялась. Дураки! Неужто счастье в хрустале? О сыне подумайте, говорю, лечиться заставьте, вы — родители! А гвардии подполковник фыркает на это: суфлировать легко, поглядим, как ты со своими справишься. А чего ему на меня глядеть, разгроми его, Господи! Он весь награжденный, научный, а я нихтошка, рабочая лошадь, книжки только по большим праздникам читала, мои холостые слова детям не указ. Дочь музыкальную школу на фортепьянах окончила и техникум, а сын инженерный институт, до начальника участка поднялся. И вот сосед всё, бывало, каркает: выучила, де, на свою голову, они тебе зададут. И накаркал, разбомби его, Господи! Дочь как вышла замуж, так со мной перестала знаться. Открытку с днем рожденья или с праздником пришлет — и будь здорова, мамашка. А мамашке и то в радость, что дружно живут, квартира трехкомнатная, просят по-божески... Чего с меня просить? А чего со всех, то и с меня. Нынче дети никто «на» не скажет, все — «дай, дай»! И отдашь, последнее с себя сымешь, если им надо — не жалко. У тебя, поди, дети-то есть, сам знаешь... Ну вот, то-то. А я вместе с сыном жила. Он никуда и не уходил из дому. Первый раз женился, да через месяц разженился: пьющая попалась, чистая алкоголичка, опохмели её, Господи. Где же, говорю, были твои глаза, сынок? А у него их и не было никогда. Вторая-то сноха злющая оказалась, мстимая, да еще матерь одной ночки, подзаборница. Двух детей прижила неизвестно с кем, в детдом обоих сплавила, чтобы вольной быть, замуж потом выйти за моего дурака. Так обое и выросли в детдоме, будто сиротки. Выучились там, взрослые уж теперь, а от моего у ней мальчонка родился, в пятом классе сейчас. Тряслась над ним, бывало: «Для одного его живу, а то бы не стала, нет мне с вами жизни!» Это со мной, значит, накажи её, Господи. А сама замки в моей комнатке ломала, в чайник мой то горчицы подсыпет, то уксусу плеснет.

Куда деваться? И хоть пенсия сто десять, а пришлось проситься сторожихой в ДОК — два года там спасалась. Там я вольная, картошечки себе испеку, чайку-кофейку согрею. Сижу в уголку и плачу. А ведь, сам видишь, баба я не слабая, не размазня, семь собак перелаю, в обиду не дамся. А вот и сейчас... при одном воспоминаньи... от обиды... не прохлебнешь... Ох! Неужто ж я такой стервой была? Всю жизнь в оглоблях, мужской ласки не знала, в войну и после войны — голодная, раздетая, сыромятные ботинки на березовом ходу, всё для детей, зарплата удешевленная, продуктов нет, Ванька пьет без оглядки, а потом сгинул и алиментов не оставил, расстреляй его, Господи. И ты думаешь, я злилась, как она? Нет, не злилась — пела! Ей богу, не вру! Все обиды и нехватки в песню обертывала. Дети-то и сейчас под хорошую минуту говорят: какой ты певуньей была, мамашка, — как Зыкина! А я не как Зыкина — я как Ольга Ковалена пою, в точности. Не помните вы её, до войны и потом малость пела, так сейчас не поют. Сейчас разные раскрашенные, косматые Пугачевы, Леонтьевы орут или шепчут прямо в микрофон, того и гляди откусят. Или под гитару вякают-хрипят пьянь и рвань — срам, разгроми их, Господи!

А Ковалева пела душевно, складно, по-народному. И голос чистый, сильный. Вот послушай: «Разлилась Во-олга широ-око. Милый мо-ой те-еперь дале-око. Ветеро-очек парус гонит, От разлу-уки сердце сто-онет. До-свиданья, милый ска-ажет, а на сердце-е камень ля-ажет. До-свиданья, ох, досвиданья, Позабудь мо-ои страданья...» Правда, хорошо?.. То-то! А прежде у меня голос еще звончее был, глубже, сильней. Бывало, девкой запою на заре — в Березовке слышно. За пять верст! И в точности Ковалева! Про это и сосед мой гвардии подполковник говорил, и Дина, учительница дочки по музыке. Я ведь дочку-то в честь Ковалевой назвала Ольгой. Ну, правда, напрасно, нет у ней голоса. Слух есть, а поет как эти шептуны с микрофонами... Ой, ой, самовар уходит! Разговорилась-распелась, хабалка старая, пожалей меня, Господи, и про самовар забыла... Ах ты, мой поилец, засвистал даже, крышечкой захлопал! А вот мы тебя сейчас заглушим, под крышку пару яичек положим, чайник заварим... Певун какой, прямо Кобзон, а не самовар. Теперь постой на столе, повесели гостя. В городе-то я отвыкла от самовара, все чайник да чайник, а теперь опять навадилась. Во-от.

И ведь выжила она меня, сноха-то, не сладила я с ней... Сын? Ну что сын — заступался, ругал, да черт с ней совладает. Она инвалидка второй группы, целый день дома, а сын на работе, вот она и творила что хотела. Скажешь поперек — затрясется вся: у меня клапан

сейчас из сердца выпадет, изверги вы! И давай отхожими словами полоскать, не прощай её, Господи. Она на ковровом работала, сердце там засорила, клапана эти, ей операцию сделали, другие вставили, казенные, вот она и выступает. А когда разойдется, схватит что ни попало и запустит куда хочет. Что, думаю, делать? Прихлопнет родная сноха, и прощай, родина, ушла бабка в невозвратный путь. Последним летом купила я десять килограмм слив, по пять килограмм в каждой сумке — себе и ей. Хорошие сливы, сочные, спелые. Варенье сварим, компот сделаем или живыми съедим. Радовалась. А она подошла и обе сумки со стола на пол — швырк. Они и раскатились по всей кухне, по прихожей. Собака вскочила, лает, бегает по ним, а потом ногу подняла, дура, и побрызгала по самым спелым. Я на собаку, а сноха в крик — Кнопка ей дороже меня, разрази ее, Господи. Сколько же, думаю, терпеть, не хватит ли. Собрала в чемодан бельишко, одежонку кой-какую, сложила в сумку продукты на дорогу и — сюда. Боялась: вдруг и родная земля не примет, куда мне тогда? Шесть с лишним лет не была. Как маму схоронила, так и не показывалась. Стыдно. Сперва на кладбище зашла, наплакалась, посидела на могилке, отдохнула. Потом — сюда. А тут домов только на погляд, да пустая колхозная контора, бригадир в ней командовал. Думала, ругать станут, стыдить — сорок лет шаталась по городам, чего же теперь явилась! — а они обрадовались: одним человеком в Выселках больше. И вот, как тебя, — по гостям, за стол. Вдруг, мол, останется, хоть дачником, хоть насовсем... А ты в блюдечко налей чай-то. Или разучился с блюдечка?.. Вот-вот, подуй на парок-то и пей всласть, сохрани тебя, Господи.

Двадцать дворов тогда было, комплекс коровий на полторы тыщи голов у самой речки, Шива меня в доярки-операторы определил. Полтора года проработала — комплекс тот прикрыли, разбомби его, Господи, коров потому что не стало, кончились... А это уж ты у Шивы спроси, почему, он тут хозяйничал. В районной газете, бывало, поют: самый надежный председатель Выселок, тридцатитысячник, утвержденный ветеран, орденоносец! А коровки у того орденоносца поживут на комплексе два-три года, бедные, и на мясо, перевыполнять план, раскатай его, Господи. По молоку никогда не выполняли, а по мясу запросто... Ну как почему? Потому что в тесноте содержались, рога им спилили от травматизма, скотников заменили транспортерами, круглый год в помещеньи. Заключенных вон, говорят, и то на прогулку выводят, а коровки зимой и летом в комплексе, разгроми его, Господи. Землю вокруг удобреньями залили, трава стала высотой как лес и сделалась ядовитой: нитраты какие-то оскалились. У коровок цирроз печени — вот и отвозили на мясо. А потом отвозить стало нечего, Шиву — в бригадиры, в звеньевые, а потом уж и звена не набрать: Березовки нет, в наших Выселках семь пенсионных дворов и главным пенсионером стал он, Шива. Персональный, расстреляй его, Господи!

Видал стены от комплекса?... Сходи погляди — как пустой вокзал. И земля вокруг бурьяном заросла, одичала. Веснянки нашей тоже теперь нет, высохла речка... А это уж пускай Шива тебе отрапортует, почему, или его однорукий счетовод Громобоев, попугай его, Господи. Всю жизнь вместе, и всю жизнь — как кошка с собакой. Если бы Громобоеву другую руку, он удавил бы Шиву сразу, ей богу! Он на вид только ласковый, а так глаза подымет, прищурится — не взгляд — строгий выговор с занесением в личное дело, разорви его, Господи.

А верней всего тебе надо старика Ивана Половинкина повидать — тот все как есть обскажет. Землю-то он наизусть знает, здесь родился, здесь и сгодился. Надежный, как русская печка. Настя Счастливая, поди, говорила?.. Ну вот. Она всех хвалит, все у ней хорошие, а сама — первая счастливица. И Шиву с Громобоевым хвалила, поди, и меня, будто я сестра родная ей, и христолюбивую Лизу-врачиху с её дурочкой Зинухой, и учителей Орфей Иваныча с Музой Петровной, и Кормильевну. Так ведь?.. Ну вот. А за что нас хвалить-то, разбомби нас, Господи? За то, что от Березовки одна церква осталась, от наших Выселок десять пенсионеров, а вместо хлебных полей бурьянные пустыри да голая степь?.. Ну да, не одинаково мы виноваты, а всежтаки виноваты, как ни крути — родину свою не уберегли! И ты виноват, хоть и седой вот стал, сутулый, хлеб ел свой, не ворованный, одежка на тебе хоть и модная, а недорогая, простенькая, как на мне.

Да-а. Вздохнешь и охнешь, охнешь и вздохнешь. Не я вздыхаю — душа вздыхает. И у тебя тоже горюет, вижу я, понимаю. Раскрошил свою жизнь, как булку голубям, а приклонить голову негде... Что твой город, что квартира с удобствами — жила я там, знаю: родина-то одна. Пока она есть, ты не сирота на земле, живешь смело, уверенно и ни сноха, напугай её, Господи, ни зять, ни родной сын — хе-хе-хе! — не страшны. А грянет беда, война ли — деревня примет, спасет. Не забыл войну-то? Ну вот. Худо, бедно, а выжили, не озверели, людьми остались. И как ведь работали, как выручали друг дружку!.. Может, правильно Настя Счастливая говорит, не виноваты мы? Ведь как хорошо невиноватому — сиди и ругай всех подряд за недостатки: бригадира, счетовода, директора, райком, советскую власть, окружение капитализма, ночной космос. Мигает, успокой его, Господи, всеми звездами, а не откликается. Читал в газете? — ученые сигналили на другие звезды — не отзываются, как мертвые. Может, не хотят? Отзовись, мол, им, а они помощи запросят, иждивенцы непутные. Охо-хо-хо-хо!..

Заговорила я тебя, поди, оглушила? Я громкая, боевая. Морда в крови, а все одно наша берет!.. А где берет, когда всю жизнь как рабочая лошадь. А ведь у меня и весна должна быть, и лето красное — где они? Запомнились два-три денечка, вот и все, прощай, родина! Даже песен вволю не напелась, а уж бабьей нашей мечты — счастливой любови совсем не досталось. Родной мужик утонул в стакане, а с приходящими не любовь, а одна профилактика. Ты к кому от меня, к Шиве? Правильно, он командовал, пусть объяснит, куда делась твоя родина. И счетовода не обходи, но лучше бы сперва к Ивану Половинкину — мужик тягловый, землепашец, хлебороб, схорони его, Господи, если один тут останется. Он у нас самый крепкий, покрепче Шивы будет. И большой, широкий, за ним, как за сараем, и от ветра можно спрятаться.

Ну, проводи тебя, Господи, по всем Выселкам. Толкуй с дедками, печалься, винись, а завтра все равно наш день, завтра праздник. Пирогов напечем, завлекать станем, чтобы не уехал, песен тебе напоем — Троица!..

Троица, Троица, скоро лес покроется.

Скоро миленький приедет — сердце успокоится!

Степан ПИСАХОВ

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

Не без удовольствия заводим мы эти публикации в нашем журнале. Какая печаль, что речь наша стоиь бедна, лишена прелестных родительских красок, потеряла звучность, мелодичность, полифоничность, утратила огромное смысловое богатство, которым владел народ, казалось бы, еще совсем недавно... Можно ли вернуть былое!! А почему бы нет!! Невольно хочется добрыми образцами напомнить о, возможно, и восполнимых, потерях...

Начинаем мы со сказок Степана Григорьевича Писахова, которому в этом году исполнилось бы сто десять лет! Он — архангелогородец, родился и прожил свой долгий век /восемьдесят один год!/ на знаменитой улице Поморской в центре города Архангельского.* По профессии был живописец, закончил Академию в Петербурге. Много путешествовал по загранице и по родному Северу. Его новоземельские и беломорские полотна-пейзажи по сию пору непревзойденные...

Но на исходе пятого десятка Степан Григорьевич увлекся поморскими сказками, собирал, записывая, ездил по мезенским, пинежским и северодвинским деревням...

И неожиданно у него зазвучало слово свое — вещее, мудрое, озорно-веселое... Родился волшебник слова коренного, русского, былинного, которое еще хранит Русский Север.

Сразу же после появления сказки его были замечены. Леонид Леонов, Александр Фадеев, Николай Асеев, Илья Эренбург, Юрий Казаков, Федор Абрамов — каждый в свое время воздал должное его могучему таланту.

Можно только сожалеть, что издают его мало, правда, архангельские издатели в последние годы стараются наверстать упущенное. Но только их усилий совсем недостаточно, чтобы сказки Писахова сделать общедоступными.

А ведь какая радость была бы детям с молоком матери впитать и слово чудное!..

Очень советуем вам сыскать сказки Писахова. Всяк найдет в них радость и утешение — и мал, и стар, и зрел, всяк ободрится и утешится, посмеется и освежит душу тонким юмором, потехой веселой, словом добрым, неожиданным, и всяк подивится гибкости, ясности и простоте языка нашего...

---

*Так назывался раньше город Архангельск. — Ред.

А то ишшо вот песни.

Все говорят: «В Москву за песнями». Это так зря говорят. Сколь в Москву ни ездят, а песен не привозили ни разу.

А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.

Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.

А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не порато верим. Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.

А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху бывает и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которые крепки слова, те в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.

Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана, — идешь и спотыкаешься. А стара улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело.

Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано.

Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).

— Ты это что, — кричит Анисья, — курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала, — прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала, как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.

— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дождаться, — оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, налкрозь прошибет.

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу, — просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не перевдила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны, — какие ни есть бабушки, матери-потаковшшицы подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блестят, звенят. Которы робята окоемы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тоненькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут.

По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: «Милый, приходи, любый, заглядывай».

Весной на солнышке песни затают, зазвеят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!

Как-то шел заморский купец (зиму у нас проводил по торговым делам), а известно — купцам до всего дело есть, ассюду нос суют. Увидал распрекрасно украшенье — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:

— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена. — Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну — в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:

— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла до только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.

Иноземцу загорелось песни назаказывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.

Вот и стали девкам песни заказывать да в особый яшшик складывать, таки термояшшики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы. В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.

Вот яшшики раскупорили, песни порастаяли, да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: «Ишшо, ишшо». Да ведь слово — не воробей: выпустишь — не поймашь, а песня что соловей: прозвенит — и вся тут. К нам шлют письма, депеши: «Пойте песен больше, заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

А сватьина свекровка, — ну, та самая, котора отругиваться бегала, — в песни втянулась. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет; как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да бральянты самоцветы, внучкино вторенье — как изумруды. Столь антиресно, что уж думали в музей сдать на полюбованье. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто и каждый норовил свое сморозить, а покупатели что приезжи сморозят — будто привозно лутче.

Ну, бабкину песню в термояшшик.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

В кузницах стукоток стоит — термояшшики сколачивают. На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили:

— Бабы, зарабатывайте больше. Надоели железны крыши, в них и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделаем из серебра и позолоченны.

Бабы не спорят:

— Нам английских денег не жаль...

Мужики выпрямились, бородами тряхнули:

— Вы это, бабы, для кого песни поете? Дайко-се мы их разуважим, «почтение» окажем.

Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было! И одно другого крепче.

Для тех песен особенны яшшики делали. И таки большушши, что едва в улицы проворачивали.

К весне мороженых песен кучи наклали.

Заморские купцы снова приехали. Деньги платят, яшшики таскают, грузят да и говорят: «Что порато тяжелы сей год песни?»

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с уважением, значит, а честь ваших хозяев. Мы их завсегда очень уважам. Как к слову приведется, кажной раз говорим: «Кабы им ни дна ни покрышки!» Это по-вашему значит — всего хорошего желам. И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труб не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли. Поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла.

Домой приехали, сейчас — афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, с раннего утра задним ходом а театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.

Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.

Вот яшшики наставили, раскупорили все разом. Ждут.

Все вперед подались, чтобы ни одиого слова не пропустить.

Песни порастаяли и — почали обкладывать.

На что заморски купцы нашему языку не обучены, а поняли!

1924 год.

В НОМЕРЕ:

Юстинас МАРЦИНКЯВИЧЮС

ПАМЯТИ ДРУГА

Стасису Красаускасу

I.

Не могу о смерти Твоей молвить.
Не хочу имя ее слышать.
Летом смотрел на закате
в дальнее море
и все ожидал возвращенья —
как утешить глаза,
что Тебя еще все ожидают?
Ах, Твоих рук
еще живо эхо
в наших руках:
они держат Тебя
и не отпускают.

II.

Упал, неся небеса.
Птицы в полете
его доподлинно видели и — как и мы —
слышали пение.
Над нами высоко раскинулось
дерево его голоса.
Мы под ним уселись притихшие,

осознав, что среди нас
самое великое —
время.

III.

Картина без рамы.
Жизнь.
Черное с белым.
Какой же он третий —
цвет
смерти?

Ты ушел, как звезда,
не отозвавшись.
Не ответив впервые.
А может, не слыша,
когда мы кричали:
останься!

Есть конец у моря и суши.

Прорубите окошко в гробу,
чтобы всех вас
мог я увидеть.

Перевод Д. САМОЙЛОВА

В эти дни графику Стасису Красаускасу исполнилось бы шестьдесят лет. Но его уже давно нет с нами... Однако он живет в наших сердцах и нашем искусстве.

Раскроем цикл его гравюр «Вечно живые». Будто огромный мемориал в мировом пространстве и в наших сердцах. Здесь нет ничего лишнего, кричащего, здесь все взывает к нашим чувствам и воображению. Эти линии горизонта, создающие впечатление глубины, эти большие куски пейзажа — они с человеком. Они и символы, они и участники человеческой драмы, выражающие динамизм борьбы, трагизм смерти, боль и печаль утраты, вечность и красоту жизни, труда, любви и мечты.

Ближе всего к нам, во мраке времени и земли — силуэт погибшего воина. Он на всех гравюрах. Он в нас. И в пейзаже Земли и Луны. В памяти живых, в их любви и повседневных свершениях. К павшим идут живые, рассказывая о себе, к ним склоняемся мы, черпая в их подвиге силу и твердость, словно скрепляя общее дело живых и мертвых, словно присягая нашей общей идее.

Овеянная тихой печалью и нежным лиризмом наша земля, соединяющая одного со всеми и всех с одним. Художник мыслит большими пластами жизни и мира, подчеркивая величие человеческого подвига, его монументальность, а необыкновенно бережно используемыми деталями духовного пейзажа природы и человека он наполняет произведение теплом, любовью, трудом, мечтой, решимостью.

Кажется, во всей драме или поэме Красаускаса нет ни единого лишнего штриха, все лаконично, целеустремленно и выразительно. Он верен поэтической манере повествования, с помощь детали, метафоры, символа он достигает единства мысли, впечатления и эмоции.

Лаконичность и емкость — самая яркая черта художественного языка этого цикла.

Выразительны его метафоры — знаки жизни человека и природы: волевой, зовущий вперед жест руки, языки пламени, грубая, мертвая, сожженная войной земля, горестные фигуры женщин в вечерних сумерках, образы-символы ребенка, любви, материнства, сажаемых деревьев, ржаное поле, на горизонте конь с развевающейся на ветру гривой, плуг и неоконченная борозда, падающий голубь, парящий в воздухе человек, воплощение его мечтаний и их властный призыв вперед — в жизнь. Как на первой гравюре — в бой.

Подвиг живых и мертвых един. Он непрерывен и вечен. В нашем труде, в нашей любви, в нашей жизни.

Поэтому — вечно живые.

Поэтому так человечно, так пронзительно, так всеобще звучит этот черно-белый гимн борьбы, жизни, любви.

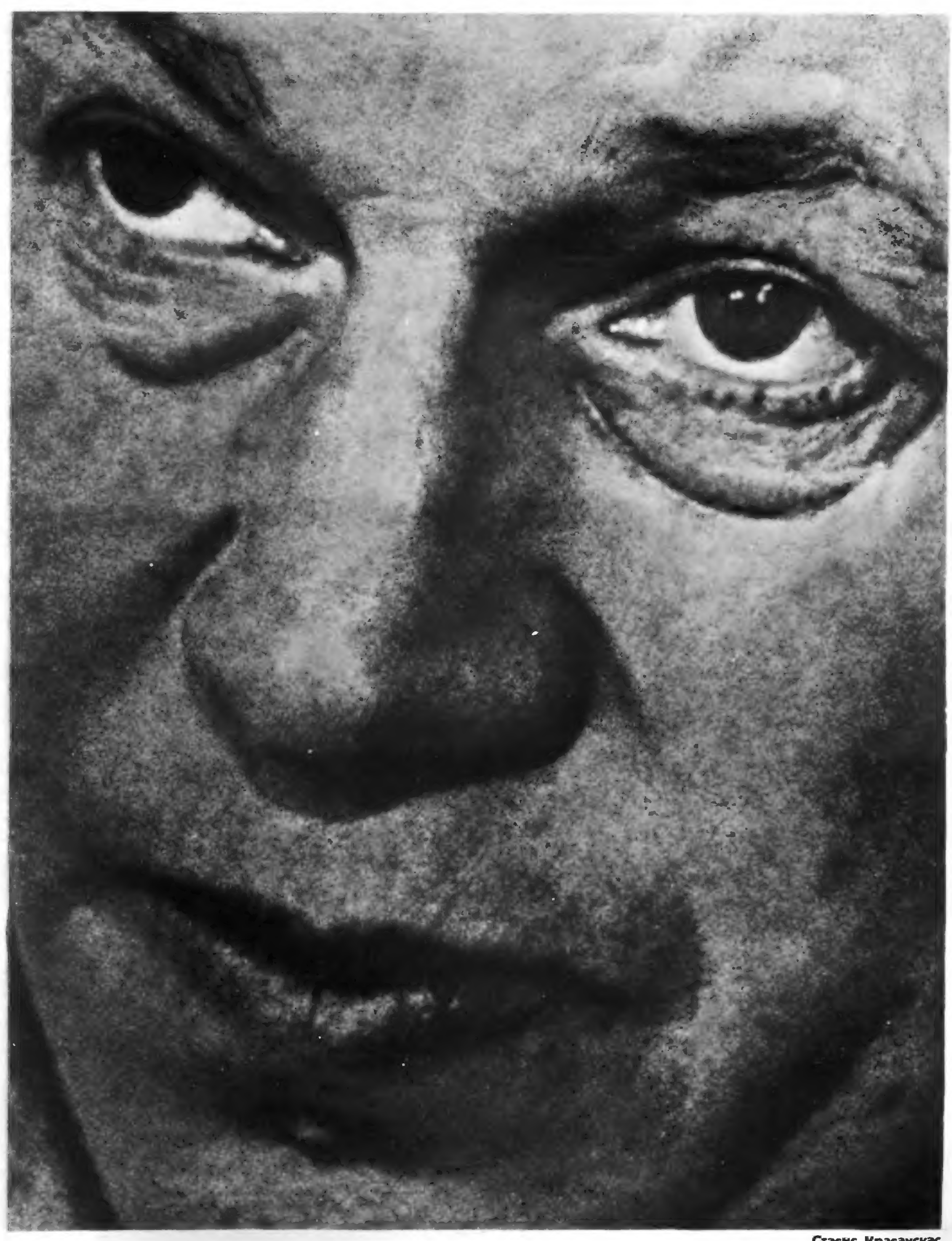
Перевод с литовского
Б. ЗАЛЕССКОЙ.

Сдано в набор 28.02.89. Подписано в печать 03.04.89. А03257. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 13,42+1,01. Тираж 152 707 экз. Заказ 107. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64

Телефоны для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомиздата СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.



Стасис Красаускас

Его зарыли в шар земной



С. Красаускас. Память. Гравюра из серии «Вечно живые».

ISSN 0321—0561. В мире книг. 1989. № 5. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.